

БОРИС РОМАНОВ

Борис Романов

ПАНЕ-ЛОЦМАНЕ

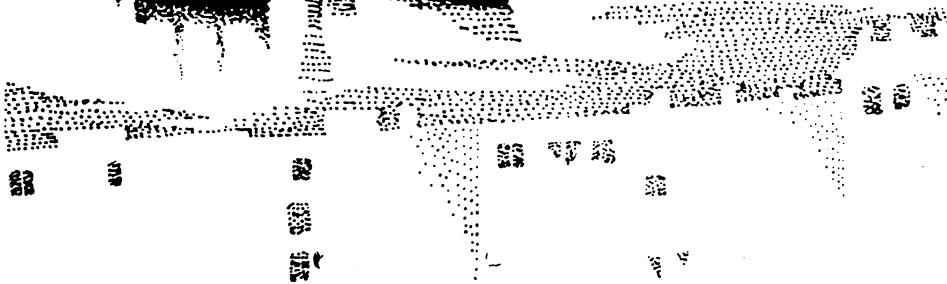
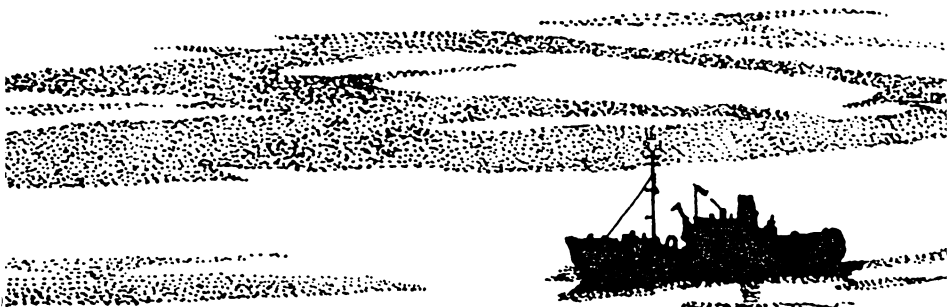
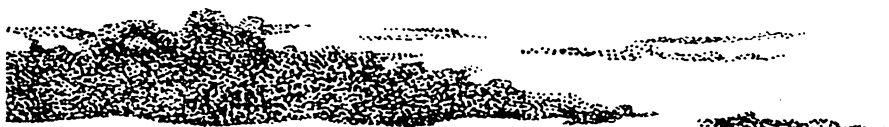
И
ДРУГИЕ
РАССКАЗЫ





Борис Степанович Романов родился в городе Валдай, Новгородской области. Капитан дальнего плавания. Член Союза писателей. Его книги: «Соленый огонь», «Тревожные сутки», «Через ярус», «Третья родина», «Причалы мужества», «Капитанские повести» — изданы в Мурманске и в Москве.

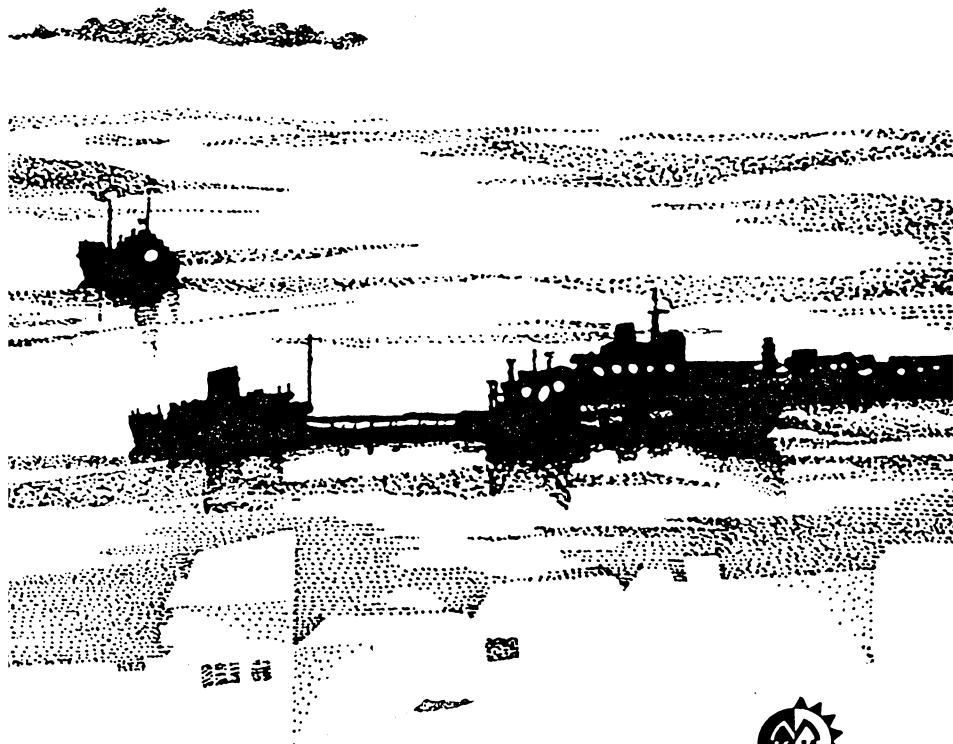
МОРЕПЛАВАТЕЛЯМ
С ПОРТОМ ПРИПИСКИ МУРМАНСК
ПОСВЯЩАЮ



Борис Романов

ПАНЕ-ЛОЦМАНЕ

И
ДРУГИЕ
РАССКАЗЫ



Мурманское
книжное
издательство
1986

Р2
Р69

Рецензент —
кандидат филологических наук
Э. ЛЯВДАНСКИЙ

Художник
Г. Упак ова

Романов Б. С.

Р69 «Пане-лоцмане» и другие рассказы: Рассказы. —
Мурманск: Кн. изд-во, 1986. — 224 с.

Книгу рассказов мурманского писателя составляют произведения, написанные им в 1965—1985 годах. Большинство рассказов публиковалось в периодической печати, коллективных и авторских сборниках; некоторые переведены на языки стран социализма.

Р 4702010200-05 16-86
М150(03)-86

Р2

© Мурманское
книжное издательство, 1986 г.

ПЕРВЫЙ ЛОЦМАН

Костя Баянов ни разу не проходил Босфора.

Поэтому, когда в синем мареве проступила сероватая издали башенка маяка Румели, он закурил сигарету и стал вспоминать наставления, которыми его в изобилии снабдили в Одесском порту, в пароходстве, а еще больше — те советы, которые давали ему друзья за фужером сухого вина в «Волне» и «Ланжероне».

Раздумывал он недолго: «Так и так, все равно нужен лоцман».

Костя решительно кашлянул, сдвинул свою капитанскую фуражку на затылок.

Гористое турецкое побережье проявлялось из дымки, как фотоснимок.

Вслед за резкими вершинами Мермерджик-Сыртлары, башней маяка и береговыми обрывами проступали нечеткими пятнами прибрежные ложбины, какие-то домики, два парохода, дымившие у входа в Босфор, и полдюжину мелких суденышек, разбросанных на разных курсах слева и справа. В бинокль было явственно видно, как дрожал воздух над прогретой землей...

Костя вытащил воротник рубашки из-под ремешка бинокля, разгладил помятую ткань и крикнул в открытое окно штурманской:

— Ну как, Александр Андреич, есть место?

Третий штурман Александр Андреевич Творожков, высокий, круглолицый, ни капельки не загоревший, всплыл в зеленоватом сумраке штурманской рубки и, глуховато упирая на «о», сказал:

— Есть... Что-то невязка очень маленькая...

— Значит, точно вышли. Сейчас проверим. — Костя склонился к пеленгатору.

Собственно, Костя, он же Константин Алексеевич Баянов, сейчас не только впервые проходил Босфор. Он только

что прожил первые сутки своего первого капитанского плавания. Всего неделя как он принял новое судно — сияющий всеми углами теплоход «Карск» — и вот теперь шел первым рейсом в порт приписки, в Мурманск.

Костя еще не успел опомниться после приемки и сам сиял, как его новый теплоход. Но этого никто не замечал, потому что команда — сплошь молодые ребята, северяне — радовалась новому судну, и новому плаванию, и возможности погреться в столь неурочное время. Радовались и заходят в Геную и Марсель, где мало кто из них бывал...

— Ну вот... Очень хорошо вышли, так и должно, Александр Андрейч. Распорядитесь-ка турецкий флаг поднять, к территориальным водам подходим, — сказал Костя.

Слово «распорядитесь» было длинновато, куда прямее было бы сказать «прикажете», — но именно так говорили старые парусные капитаны... Кроме того, тут был какой-то особый тонкий оттенок, специфический смысл.

Костя всегда думал, что у него на судне порядок будет не только образцовым, но и особо тонким, точным, морским...

Красный турецкий флаг со звездой и полумесяцем затрепыхался на фок-мачте.

«Великоват, пожалуй», — отметил про себя Костя и стал наблюдать за фелюгами. Суденышки были убогие, деревянные, над водой блестела черная смола, а выше сверкала нестерпимо синяя краска такого цвета, какой можно встретить только на Ближнем или Среднем Востоке; а еще выше виднелась оранжево-черная рубочка, из которой почти по пояс торчал шкипер.

Одна из фелюг вдруг резко повернула вправо и полезла под нос «Карска». Костя рывком поставил рукоятку машинного телеграфа на «стоп» и лихорадочно задергал привод сигнального тифона. Фелюга рыскнула влево и пошла параллельным курсом.

— Ну то-то, «свободный мир». — И Костя повернулся к вошедшему старпому: — Боцмана на бак, к якорям. Да объявите людям, чтоб на мостик не лезли, когда Босфором пойдем, а то как пить дать от любопытства все сюда кинутся. Так распорядитесь, Григорий Петрович.

Старпом был в годах, лысоват и смугл. Он с неодобрением глянул на розовые щеки капитана и пошел к пульту судовой трансляции.

— А тифончик у нас ничего. Таким в любом порту по-

гудеть приятно, — задумчиво сказал Костя, сдвинул фуражку на лоб и вышел на правое крыло мостика.

Фелюга проходила совсем близко. Она раскачивалась с борта на борт, и рыбаки, парни в одинаково серых куртках и серых штанах, курили сигареты, упершись спинами в рубочку, а ногами в низкий деревянный фальшборт. Головы их медленно поворачивались вслед «Карску». На корме фелюги лежала горка мокрых сетей.

Косте захотелось погрозить шкиперу фелюги пальцем, но он вовремя подумал, что издали этот жест не разглядят или не так истолкуют.

Распахнутые берега Босфора наплывали на теплоход. Потянуло пылью, дымком, горьковатым каким-то растением, и эти запахи странно перемешались во влажном морском воздухе.

— Табаком пахнет, — вдруг сказал вахтенный рулевой, беловолосый украинец Дуленко, — у нас под Черниговым тоже так табаки пахнут.

— Ну-ну, — сказал Костя, — курил в Стамбуле злые табаки... Курил?

— Нет, не приходилось, — вздохнув, ответил Дуленко.

— И мне пока не приходилось... Ладно. Александр Андренч, давайте сюда карту Босфора.

Третий штурман неторопко вышел из штурманской рубки, пришаркивая развернутыми в сторону большими ступнями, подошел к капитану. Он был всего на год моложе Кости. Веснушки светились на его круглых щеках, а льняные волосы, на прямой пробор, ниспадали на широко поставленные глаза.

— Вот, Босфор. — Два этих слова покатались на круглых штурманских «о».

— На столике, вот здесь, расположите-ка. Будете отмечать на карте точки поворотов. Ясно?

— Ясно. Только, Константин Алексеич, лоцман по-английски, что ли, говорить будет? Команды рулевому на каком языке?

— Говорят, по-русски. Если по-английски, я переведу. А вы, ту деаг, напрасно английский запустили, два года как из мореходки — и уже ни-ни!

— Так я ж все в каботажке...

— Ладно. Определите место. Румели рядом. И пусть впередсмотрящий поднимет флаг о вызове лоцмана, — до-

бавил Костя, глядя, как третий штурман неловко переступил комингс рулевой рубки.

— Вот тюлень, да? — засмеялся Дуленко.

Костя нахмурился: в общем-то, это было справедливо, и сам он о том же подумал, — но какое дело было вахтенному рулевому до того, как вахтенный штурман переступает комингс рубки? И Костя, не оборачиваясь, холодно сказал:

— Ваше дело, Дуленко, — руль, компас и курс. Остальное, до смены, вас не касается. Сколько на румбе? Держите точнее.

Это тоже было справедливо, потому что Дуленко на руле сам не свой был поболтать.

Дуленко обиженно уткнулся в компас, а Костя положил голые по локоть руки на кромку открытого смотрового окна.

Волноваться ему нельзя, он должен быть сжатым и спокойным, как пружина, как его бывший капитан Афанасий Афанасьевич Лукашкин, который поучал: «Ты будь сжат все время, как пружина, не дребезжи, а защелку — в руке. Может, всю жизнь сжатым проплаваешь, а будет какая смертельная крайность — в нужном направлении и развернешься. Понял? Капитан, который защелку в руке не держит, — не капитан».

Костя вздохнул почти вслух: все вроде бы в норме, а вот защелку в руке держать — еще не научился.

— Оба якоря к отдаче готовы, — доложил с бака боцман.

— Хорошо, — Костя снова сдвинул на затылок фуражку, снова глянул в бинокль.

«Карск» втянулся в Босфор. Впереди уже виднелись бисеринки бонового заграждения. С юга к бонам подходило большое судно. На его мачте бились два флажка: турецкий и красно-белый, лоцманский.

Костя вспомнил, как в «Ланжероне» Валька Гладышев доказывал, что Босфор — ерунда, что единственное сложное место — это боны и что турки поставили эти боны с единственной целью — навязывать лоцманов и получать за это валюту.

Костя глянул на часы. «Карск» подойдет к лоцманской станции точно в оговоренное по радио время. Можно было даже погордиться такой точностью.

Большое судно, подходившее к бонам, выросло на

глазах. Рефракция, искажавшая и поднимавшая его синеватый корпус, вдруг прекратилась, и была видна уже белая пена, вскипавшая у форштевня. Судно развернулось вправо для прохода бонов, и на его трубе сверкнула красная марка.

«Танкер. Наш. Ого! Для такой посуды скорость в узкости зело приличная. И кэп, и лоцман, видно, те еще ребята!» — подумал Костя и застопорил ход. Дизеля смолкли, и только позванивала о корпус плотная босфорская вода.

— «Иоганн Кеплер», — в бинокль прочитал название Костя, — итальянской постройки. Ученый такой был, знаете?

Третий штурман и Дуленко согласно кивнули, но глаза опустили долу.

Лоцманский бот черным пятнышком прилепился у серо-голубоватого борта встречного танкера.

Костя подошел глянуть на карту Босфора, чтобы она окончательно осталась в памяти: не бегать же за справками при лоцмане. Скажет: два часа пути заранее изучить не смог.

Изломанный, испещренный черными крапинками надписей белый Босфор, лежащий в коричневых берегах, вдруг напомнил Косте ствол полярной березы. С чего бы? «По березам соскучился — и на картах мерещатся. Или просто воображение замолотило. Волнуешься перед первым лоцманом, кэптен Баянов?»

— Ну, что-то уж слишком он волнуется, — сказал Александр Андреевич.

— Перекусывают с капитаном, морской закон...

По правде, Косте не очень хотелось, чтобы лоцман наелся на «Кеплере»: почему бы тому не отобедать на «Карске»? Наверняка капитан «Кеплера» уже устал от обедов с лоцманами, а на «Карске» еще с утра приготовлен и стоит в холодильнике в салоне капитана добротный закусок и еще кое-что.

Наконец лоцманский бот отвалил от «Кеплера» и направился к лежащему в дрейфе «Карску».

— Встретьте лоцмана, Александр Андреич, чтоб штурмтрап и полутрапик в порядке были...

Косте не хотелось смотреть на приближающийся лоцманский бот. Он с безразличным видом проследил, как на «Кеплере» спустили лоцманский флаг, как его огромная

дымовая труба вдруг пыхнула синеватыми клубами, заволакивая алый флаг на гафеле, как плеснуло за кормой и танкер, медленно набирая ход, двинулся в Черное море. Только после этого Костя глянул вниз. Бот уже подошел к штурмтрапу, и лоцман, в коричневом костюмчике и без фуражки, ловко лез вверх.

Через минуту он появился в рулевой рубке, сунул Косте маленькую сухую руку и сказал:

— Full speed ahead, кэптен. Полный вперед. — Повернувшись к рулевому, добавил: — Так держать!

Костя забыл приготовленные по английским правилам вежливости учтивые фразы, утвердительно кивнул рулевому и передвинул ручку машинного телеграфа на «малый вперед».

Лоцман надел темные очки, цвикнул зубами, вытащил из кармана сложный наборчик-зубочистку:

— Лэво помалу! — И, выбрав подходящую щеточку, осторожно заковырял в зубах.

Костя молча стоял у тумбы телеграфа, наблюдая за маневром лоцмана. Он даже не глянул на появившегося минуту спустя третьего штурмана, а только бросил ему через плечо:

— Отметьте, что вступили под проводку лоцманом. Да позаботьтесь, чтобы висел соответствующий флаг.

Косте было немного обидно. Не состоялся у них с лоцманом тот вежливый и обстоятельный разговор, какому его учили еще в мореходке и какой обычно бывал у Афанасия Афанасьевича Лукашкина с лоцманами на Темзе, в Гамбургском порту, в Роттердаме, да и мало ли где еще. Афанасий Афанасьевич стоял на мостике скалой, всегда парадно одетый, и ослепительная седина ледком подсвечивала его голубые глаза. Да и лоцмана там бывали другие, солидные, что ли, а этот...

Лоцман, как боксер, переминался с ноги на ногу, поскрипывая лаковыми узконосыми ботинками, чистил зубы. На среднем пальце поблескивало колечко с эмалевым вензелем, усики топорщились, тень от очков падала на лицо, и непонятно было, сколько же ему лет.

Судно уже подходило к бонам, а лоцман, казалось, и не следил за ними. Костя с беспокойством заметил, что сильное течение сносит судно на левую линию бонов, и потянулся к телеграфу.

— Да-да, полный ход, кэптен, — не оборачиваясь, по-английски сказал лоцман.

Боновые ворота проскочили красиво. «Было бы красиво, если б не так лихо», — подумал Костя.

После бонов лоцман аккуратно спрятал в карман зубочистку, снял очки, глянул на Костю колючими карими глазками и задал ряд полагающихся в таких случаях вопросов: что за судно? водоизмещение? скорость? где привод гудка? порт приписки? Услышав название «Мурманск», лоцман на секунду задумался.

— In what country Мурманск? В какой стране Мурманск?

Костя покраснел.

— Как — в какой стране? В СССР. На севере СССР.

— О, на севере? Прекрасно, прекрасно.

Лоцман снова надел темные очки, снова сыто поцвикал зубами. «Неудобно как-то, плывем, а я его имени даже не знаю, удостоверения не видел, — подумал Костя, сделал несколько шагов к борту, вернулся обратно. — А он Мурманска не знает». И Костя решил.

— Я прошу прощения, но сообщите, пожалуйста, ваше имя и покажите лоцманское удостоверение для регистрации в судовом журнале.

Лоцман поверх очков удивленно уставился на Костю, потом пробурчал: «О янг кэптен, янг кэптен!» — И отвернулся. Костя стоял рядом и ждал. Лоцман глянул на Костю, полез в нагрудный карман, протянул удостоверение. Костя прочитал, осторожно сложил корочки, отдал книжечку лоцману:

— Благодарю вас, Умеран-эффенди. Моя фамилия — Баянов. Я рад видеть вас на борту своего судна. Не хотите ли закурить?

— Я не курю, — сухо сказал лоцман. — Остановите движение, кэптен.

Дали задний ход. Течение тащило судно в бухту Бююкдере, к карантинной станции. Начинались пригороды Стамбула — причудливая местность, где на желтоватых уступах умещались радиомачты, сады, голый камень, виллы, халупы, ослики и плоские обтекаемые четырехглазые машины на дорогах...

Санитарный катер запаздывал. Приходилось временами запускать машину, чтобы удержаться на месте. Костя не спеша закурил болгарскую сигарету, но быстро спрятал

спички в карман: и надо же было перед самым рейсом сломаться зажигалке! У лоцмана-то, если бы он курил, была бы зажигалочка дай бог; неудобно перед ним с обшарпанным коробком...

Лоцман действительно глянул с усмешкой на коробок в Костиных руках, а потом, как показалось Косте, и на его руки. За свои руки Костя не опасался: они были загорелые, сильные — интеллигентные капитанские руки.

На мостике было тихо. Сонно стоял впередсмотрящий на правом крыле. На левом жмурился старпом, сняв фуражку и подставив лысину солнцу.

Только с верхнего мостика вперебой доносились веселые голоса: это все свободные от вахт там, на верхотуре, таращились на Босфор. Наконец катер карантинной станции забурлил, запенил воду и оказался у борта. Лоцман Умеран-эффенди, вытянувшись на цыпочках, высунул голову за борт и быстро-быстро закричал вниз что-то по-турецки. Трое парней с катера, элегантных, с мокрыми, а может набриолиненными, волосами, задрав головы, так же быстро-быстро отвечали лоцману.

— Григорий Петрович, — позвал Костя старшего штурмана, — возьмите у меня на письменном столе санитарную гарантию и отдайте на катер. побыстрее, будьте добры. — Потом он вышел на правое крыло. — В чем дело, Умеран-эффенди? Не мог бы я чем-нибудь вам помочь?

Но лоцман, казалось, не слышал. Он продолжал кричать, видимо что-то доказывая. На катер с борта сбросили штормтрап, и двое парней неуклюже карабкались по нему. Третий, с которым в основном разговаривал лоцман, стоял внизу.

На палубе их встретил старпом. Костя сверху видел белый блин старпомовской фуражки, качавшейся то слева направо: нет-нет, то вперед-назад: да-да.

Потом старпом поднял голову и крикнул на мостик:

— Они хотят произвести санитарный досмотр всего судна!

Костя растерялся. Он взглянул на лоцмана. Умеран-эффенди смотрел на белые здания карантинной станции, и только белесые блики отражались в его очках. Элегантные ребята снизу требовательно и гортанно закричали что-то лоцману. Костя забежал в рубку, схватил электромегафон, подошел к окну, поколебался, подбирая слова:

— Господин портовый врач! Я следую через Стамбул

транзитом. Следовательно, по правилам порта, могу ограничиться предоставлением санитарной гарантии. Вы задержали мое судно уже на двадцать минут, и я вынужден буду протестовать.

Парни на палубе стали совещаться. Третий, с катера, вдруг закричал что-то, они взяли у старпома листок санитарной гарантии и полезли вниз. Катер фыркнул и отскочил от борта. Лоцман ожил.

— Лэво на борт, — твердо сказал он, — полный ход, кэптен, полный ход!

Костя дал ход, кивнул Дуленко, чтоб тот выполнял команды лоцмана, и сказал:

— Четырнадцать узлов — моя полная скорость. Это много для такого узкого пролива. Больше десяти я не дам.

Лоцман покосился на Костю, помолчал, попросил стакан воды.

— Александр Андреич, распорядитесь, чтоб водички принесли да похолоднее. Похолоднее, поняли?

— Понял, — третий штурман согнулся, вышел в коридор и уже оттуда добавил: — Я заодно второго штурмана на вахту подниму.

Костя досадливо хмыкнул. Стало ясно, что холодная вода появится на мостике не раньше чем через пятнадцать минут.

«Карск», управляемый лоцманом, переходил на левую сторону пролива, прижимаясь к белым буйкам, ограждавшим ржавые громады двух обгорелых и полузатонувших танкеров. Коричневое, с рыжими подпалинами железо закрыло левобережные домики и сады.

— Вот памятнички нерукотворные, — сказал Дуленко.

— Что такое? — быстро спросил Умеран-эффенди по-английски.

— Ничего особенного, — ответил Костя и повернулся к Дуленко: — Хватит болтать!

Пригороды и подступы Стамбула, такие веселые издали, плыли навстречу. Справа, очень близко от борта, вырвался большой катер, пошел под нос «Карска», круто перерезая курс. Был виден плечистый блондин не то с фото-, не то с киноаппаратом, нацеленным на теплоход. Лоцман безучастно наблюдал за обстановкой по курсу. Сбоку видно было, как отражался в стекле очков уголок его маленького глаза.

— Картотеку пополняют, — тихо сказал Григорий Пет-

рович, — все новые пароходы для военных альбомчиков снимают. Военным тут от фотографов вообще проходу нет.

Катер нырнул под нос «Карска», и Костя инстинктивно сбавил ход. Лоцман даже не вздрогнул при звонке телеграфа. Катер вынырнул с левого борта, и блондин с аппаратом, прячась в тени брезентового балдахина, продолжал снимать «Карск».

— Настырные ребята, — снова тихо сказал старпом.

Судно шло близко от пестрого берега. Домики, яркие занавески, сады, виллы, яхты группировались и распались, как в калейдоскопе.

Костя поднес к глазам бинокль, запотевшим ладоням приятно было ощущать его холодноватую тяжесть. Лоцман, не оборачиваясь, бесстрастно сказал:

— Прибавьте ход, кэптен, прибавьте ход.

— Я полагаю, этого не следует делать, Умеран-эффенди, тем более что впереди крутой поворот.

— Кэптен лучше знает Босфор, чем я?

— Нет, но за поворотом — судно. Я вижу верхушку мачты.

Лоцман мгновение рассматривал Костю в упор, потом снова повернулся к окну:

— В таком случае сбавьте ход, кэптен, — Умеран-эффенди пошевелил щеточкой усов, кашлянул. — Лэво, помалу, лэво помалу.

«Да где же этот тюлень с водой?» — передвигая ручку телеграфа, подумал Костя о третьем штурмане. Тот появился, легкий на помине, смущенно нес графин.

— Вот, воды не принес. Компот лучше. — Александр Андреевич выцарапал из нагрудного кармана рубашки тонкий стакан и со звоном поставил посуду на ящик с сигнальными флагами. — Пожалуйста.

— Что, некого прислать было? — спросил старпом.

— Лэво на борт, — сказал лоцман.

Судно стремительно покатило влево, и белый флажок на носу, как прицел, заскользил по черному борту большого и неряшливого парохода с обтрепанным ливанским флагом на закопченной грот-мачте.

Лоцман беспокойно оглянулся на рулевого.

— Лэво на борту, Умеран-эффенди, я добавляю ход. Не дать ли два гудка? — спросил Костя.

Лоцман дернул плечиком, но все же нажал на рукоятку тифона.

— Катер с левого борта раздавим! — испуганно закричал третий штурман.

— Черт с ним, не врезаться же в эту дуру!

Ливанец, густо коптя, забирал влево, прижимаясь к своему берегу. Катер с фотографом, стукнувшись кормой о «Карск» и резко накренясь, развернулся на обратный курс.

— Отлип, стервец, — сказал старпом.

Когда разошлись с ливанским транспортом, лоцман подошел к графину, налил себе компоту в стакан, недоверчиво просмотрел стакан на свет, зажмурясь, выпил.

— О, холодный!

Затем он выпил еще полстакана, достал из кармана пачку английских сигарет и тронул Костю за локоть:

— Не хотите ли закурить, кэптен?

— С удовольствием, благодарю вас. — Костя взял сигарету и прикурил от лоцманской зажигалки с эмалевой красоткой на крышке.

— Я добавляю, Умеран-эффенди. Пойдем быстрее, а?

Лоцман утвердительно кивнул, снова надел темные очки, затарабанил пальцами по раме. Мотивчик был непонятный.

— Дуленко, внимательней на руле, сейчас марш-бросок будет! Андреич, место! — И Костя весело подмигнул им.

Третий штурман, качнувшись, бросился к карте, а Дуленко согласно тряхнул своими неукраинскими волосами.

— Право полборта, — сказал Умеран-эффенди.

И началось то упоительное плавание, когда судно змей, легко и непринужденно вьется в узкости, а сам ты сливаешься с ним до того, что ловишь себя на нелепом движении, когда, вцепившись руками в планширь мостика, стараешься повернуть судно, как поворачивают руль велосипеда. А слева и справа тянутся широкоформатные берега, на которых одновременно демонстрируются две документальные кинохроники, и мельком улавливаешь отдельные кадры то слева, то справа: пыльные развалины крепости, голубая полоска воды, огромный щит с фигуристой красавицей, рекламирующей пепси-колу, полированное дерево шезлонгов в тени, женская нога в перлоновом чулке, блеснувшая, как сабля, и снова полоска воды, и драные флаги старого белья, обвисшие на заборе у серой хибарки, и полосатая чалма, поднимающаяся с повозки, и кособокий пароходик на воде, и пятнистый вездеход с узкими

глазами бронированных стекол...

Лоцман, изредка поглядывая на Костю, командовал рулевому. Дуленко вопросительно взглядывал на Костю, а тот лишь утвердительно кивал. И было хорошо, потому что все были заняты. Дуленко не тянуло на болтовню, третий штурман потерял свою обычную нерасторопность, забыл над картой о смене, а лоцман поскрипывал лаковыми ботинками, перебегая мостик с борта на борт, и тонким голоском подавал команды, а Костя прилип к телеграфу, не выпуская бинокля из рук, и только отмечал про себя все повороты и извилины Босфора да разве изредка подходил к карте — проверить место.

Так длилось до тех пор, пока не появился справа сам залив Золотой Рог, накрытый мостами, и Стамбул с мечтью Айя-Софья, а слева, в воде — старая Леандрова башня и молы нового порта, которые лениво ополаскивались сентябрьским Мраморным морем...

— Стоп ход, кэптен, — сказал лоцман, — я вызываю бот. Подпишите мне, пожалуйста, документы и заверьте печатью, кэптен.

Костя подписал документы, приложил заранее захваченную с собой печать, отдал бумаги лоцману и предложил:

— Не хотите ли перекусить чего-нибудь?

Лоцман посмотрел сквозь темные очки и отказался. Ну что ж, так оно и должно было быть. Костя отошел в угол рубки, закурил, посмотрел, как колечко дыма отразилось в пластике подволока.

Как же все хорошо и неопровержимо получалось у Афанасия Афанасьевича!

Лоцман рассматривал в бинокль левый берег. Катер не появлялся.

Тогда лоцман снял очки, подошел к Косте:

— Я извиняюсь, кэптен. Пожалуй, можно и перекусить, если только немного, если только есть рашен икра.

Костя ответил, стараясь, чтоб вышло безразлично, но достаточно вежливо:

— Икрой, к сожалению, угостить не могу. Однако кое-что найдем, прошу вас, Умеран-эффенди. Присмотрите за судном, Григорий Петрович!

Они спустились в капитанскую каюту, где в салоне на овальном, накрытом скатертью столе уже стояла посуда. Костя, торопясь, достал из холодильника тарелочки с по-

мидорами в сметане, с зеленым перцем, запотевшую бутылку «Столичной», хлеб в плетенке.

— О, russian wodka! — сказал лоцман.

— Надеюсь, выпьете немного? — спросил Костя и, не дожидаясь ответа, налил в две рюмки. — Ваше здоровье! — Они выпили вместе: Костя свою рюмочку целиком, а лоцман — на треть. Потом лоцман потянулся к тарелке, взяв рукой ломтик помидоринки, положил на хлеб, стал закусывать.

«Где же вилки, черт возьми? Ну, позор!» — Костя нажал кнопку буфетного звонка.

— Ничего, кэптен, не беспокойтесь, — сказал лоцман, — стюард, наверно, наверху, так тоже можно. — И он отпил еще треть рюмочки, положил на хлеб ломтик огурца, опять закусывать.

Костя понюхал хлеб, взял телефонную трубку.

— Мостик? Григорий Петрович, вызовите мне буфетчицу. Что? Да вилок нету!

Умеран-эффенди допил последнюю треть, стал похрустывать перцем. Костя вытащил из холодильника тарелку с заливной осетриной и еще бутылку «Столичной».

— О, вери гуд водка! — воскликнул лоцман, вскочил, подошел к окну: не идет ли катер за ним?

Катера еще не было. В дверь постучали, заглянула раскрасневшаяся буфетчица в босоножках и легком платье. На ее круглом вологодском лице сияла улыбка.

— Чего, Константин Алексеич?

— Вилка нет...

— Охти мне, как я забыла! Да у вас и закусить нечем! Хотите, я вам яешню сделаю?

— Не надо, — сказал Костя.

Нина закрыла дверь.

— Прошу вас, Умеран-эффенди.

— Нет-нет, достаточно, мне еще нужно работать, — сказал Умеран-эффенди, — ну разве совсем немного.

Костя налил еще понемножку. Дверь без стука распахнулась, Нинина рука протянула две вилки и два ножа.

— Пожалуйста, — сказала Нина обиженно, — я вам яешню все-таки пожарю.

Тут Костя почувствовал, что здорово проголодался. Он протянул вилку лоцману, взял хлеб и принялся за осетрину. Лоцман похрустывал перцем и рассматривал шелковые шторы на окнах каюты.

— Кэптен, если появится бот, пусть чиф сообщит сюда.

— Хорошо, Умеран-эффенди. А это вот, — Костя взял бутылку, — мой презент вам.

— Ну что вы, кэптен, — быстро ответил лоцман, — ну что вы! Впрочем, это, может быть, пусть будет для моей семьи... Попросите старпома, пусть сообщит, когда появится бот. — Лоцман взял бутылку, стал прятать ее во внутренний карман пиджака.

Костя повернулся к телефону, позвонил на мостик старпому. Тот ответил:

— Буксирчик уже идет к нам.

Костя снова обернулся к лоцману. Умеран-эффенди деловито укутывал своим красивым галстуком горлышко бутылки, торчащее из кармана. воротник его желтой рубашки был расстегнут. Изнутри материя протерлась, у отворотов блестела темная жирная полоска.

— Это для моей семьи, — повторил лоцман, и на его смуглом лице проступила частая сеточка синеватых жил.

Оказывается, лицо у лоцмана было совсем пожилое.

— Катер уже идет, Умеран-эффенди.

Лоцман вскочил и засуетился.

— Да нет. Он еще далеко, перекусите, пожалуйста.

Лоцман остановился, взял свою рюмочку:

— Вы очень молоды, кэптен. Я желаю вам удачи.

— Благодарю вас. Спасибо за помощь. Ведь вы — мой первый лоцман.

И они отпили по глотку ледяной, а потому совсем не пахнувшей водки.

— Кэптен идет наверх, я спускаюсь в бот. — Лоцман подтянул и застегнул на пуговицу рубашку, горячей сухой ручкой пожал Костину руку и, покачнувшись, быстро пошел по коридору. Он чуть-чуть опьянел, лоцман.

— Александр Андреич, проводите лоцмана! — крикнул Костя в открытую дверь каюты третьего штурмана и стал подниматься на мостик, думая о том, что штурман и правда чересчур увалень и как-то неловко перед иностранцами, даже перед этим Умеран-эффенди, за таких нерасторопных моряков на борту. Было грустно.

Вот и промелькнул в праздничных красках голубой Босфор, который он прошел под проводкой своего первого лоцмана. А ведь мог бы пройти и сам.

Босфор... Изломанный ствол полярной березы... Быстро промелькнул.

И запомнилось, пожалуй, только то, что не стал он еще, Костя, железным капитаном, сжатым, как пружина. А был всего-навсего самим собой.

Костя с мостика понаблюдал, как Умеран-эффенди, поддерживаемый третьим штурманом, взбирался к штурм-трапу, как блеснули на фальшборте его лаковые ботинки и как привычно, профессионально ловко стал он спускаться на палубу черного буксирчика, пыхтевшего под бортом «Карска».

Отдавали швартовы.

Красивый коренастый турок, возившийся с концами на корме буксирчика, вдруг неуверенно закричал вверх:

— Эй, русский, идем к нам, у нас якши. Идем, слезай на меня!

И тогда флегматичный третий штурман Александр Андреевич Творожков, придерживая рукой падающие на глаза льняные волосы, удивительно быстро перегнулся вниз и закричал:

— Я так на тебя слезу, что хребта не будет! Хребта не будет, понял?..

Солнце перевалило на вечер, и сизоватые тени ложились на пятнистые берега. Мраморное море стеклянно лежало впереди, а позади древняя Леандрова башня по колени забрела в воду, провожая «Карск».

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

1

Когда Сергей Баскаков поднял штору и взгляделся через стекло, рассвет уже протаял в холодном небе.

Восточный берег залива, уставленный домишками, бараками, пакгаузами и редкими многоэтажными домами, плыл совсем близко, и белесые пятна первого снега сливались с низкими облаками. По-над горой шла пригородная электричка, светила прожектором, еле слышался ее волнистый гудок, потому что окна были еще с ночи наглухо закрыты на все задрайки.

Сергей передернул плечами, открыл побольше краник водяного отопления, повернулся к умывальнику и взял мыло. До подъема было еще двадцать минут, судно спало, и даже в кают-компании не звенела к чаю посуда.

Сергей остервенело чистил зубы, выдавив на щетку чуть ли не полтюбика пасты.

Заглянул в открытую дверь третий механик Витя Епифайнен, пожелал доброго утра и остановился за спиной. Сергей покивал ему в зеркало. Витя шмыгнул облупленным розовым носом, помял в руках наподобие снежка комок промасленной путанки и сказал:

— Порошком зубы лучше чистятся, Александрыч. Чего ты за модой гонишься, пасту завел?..

Сергей отфыркнулся, разбрызгивая во все стороны мыльную воду. Витя Епифайнен отстранился, побросал с руки на руку путанку, еще раз шмыгнул носом и безразлично добавил:

— Кстати, Александрыч, у тебя вахтенный рабочую шлюпку спускать собираются... Ты ему добро давал?

Сергей прикрыл воду. Точно, заскрипел вертлюг бортовой шланговой стрелы, и вдруг, срываясь, затрещала ручная лебедка.

— Сейчас ка-а-ак уронит! — восхитился Витя Епифайнен.

Шлюпка шлепнулась в воду как раз тогда, когда Сергей прибежал к лебедке и накиннул стопор. Вахтенный, перегнувшись через леера, рассматривал шлюпку. Потом перевел спокойные серые глаза на Сергея.

— Кто же шлюпку так спускает, рассолоха вы этакая! Я вам разрешение на это давал? Я спрашиваю вас или вот этот кранец? Где фалинь? Вы же ее упустите!

Вахтенный недобро глянул на Сергея, подобрал с палубы рукавицы, перебрался через леера, прыгнул в шлюпку и протянул конец шлюпочного фалиня. Сергей выбрал его втугую, закрепил и приказал вахтенному вылезать наверх.

— Там ребята на берегу зовут...

— Вылезайте наверх, я вам сказал!

Вахтенный кое-как зацепился за край ватервейса, но подтянуться вверх по скользкому борту не смог.

— Ну что? А как же выбрались бы из шлюпки ребята?

Сергей лебедкой подтянул шлюпку вверх, и вахтенный выкарабкался на палубу.

— Я не хотел вас будить, Сергей Александрович.

— Слушайте, вы уже больше трех месяцев на борту. Без разрешения с вахты уходить нельзя. Шлюпку без разрешения спускать нельзя. Без штормтрапа людей высаживать нельзя. Без спасательных средств в шлюпке находиться нельзя. Нельзя! Это вам повторялось не единожды. В чем дело?

Вахтенный попирал палубу прочными короткими ногами в подвернутых сверху яловых сапогах, петли телогрейки на пядень не сходились с пуговицами, казенная шапка едва прикрывала его крутой, как у бычка, лоб, и Сергею стало совестно так разоряться перед ним.

— Короче, наладьте штормтрап, бросьте в шлюпку пару кругов и ждите меня. Ясно?

Вахтенный шевельнул ресницами и стал аккуратно стаскивать рабочие рукавицы.

«Ну и парниша», — подумал Сергей, поспешая в радиорубку и на ходу растирая себе плечи, чтобы согреться.

Вахтенный этот, матрос второго класса Генка Исаев, поступил к ним работать после десятилетки по рекомендации своего дяди, радиста с папанинским стажем.

— Парень — будь здоров! — сказал дядя. — Он еще

в пятом классе грамоту за модель линкора получил. Так я говорю? — Дядя хлопнул по плечам — одной рукой Генку, а другой — капитана: — Будь здрав! А ты, Генка, смотри!

Генка действительно получил грамоту в пятом классе, был первым моряком у себя в поселке и перепортил Сергею немало крови, потому что к окончанию десятилетки перечитал уйму маринистских книг и потому о море имел собственное мнение.

— Ну как? — поинтересовался в коридоре Витя Елифайнен. — Вовремя я тебя предупредил, Александрыч?

— Спасибо, Витя.

— Чего там, — свеликодушничал тот, — вот кофейку бы скорее дали, вот было бы дело. А у меня мотористы вахту лучше стоят, — все же не утерпел он, — зря ты механиков обижаешь, Александрыч!

— Вас обидишь...

Сергей открыл радиорубку, вызвал диспетчера и спросил, будет ли сегодня катер по рейду.

— Ты еще раньше не мог поинтересоваться?

— Не мог.

— Я ж тебе вчера катер давал. Больше у меня катеров нету! Теперь разбирайтесь сами. В десять у вас отход.

— Еще полкоманды на берегу.

— А вы же еще вчера знали, что у вас отход, почему же вы команду распустили?

— Потому что думали...

— Я не знаю, что вы думали, но катеров у меня для вас нет. Сорвете выход — будете отвечать. Я вас...

Сергей выключил радиостанцию, и скрипучий голос обрезало на полуслове.

Диспетчера Ваньку Остева знали все. Старший краснофлотец Иван Остев демобилизовался в сорок пятом и сразу пришел в поредевшее за войну управление. Медаль за победу над Германией, хватка гвардейца, восьмилетняя служба на складах в Мурманске, а главное — безвыходное положение с людьми произвели Ивана Остева в диспетчеры. Через два года выяснилось, что у него четырехклассное образование, но Иван уже плотно сидел в сменном диспетчерском стуле, а грубость с людьми тогда часто принимали за деловитость. К тому же людей в полуразрушенном городе по-прежнему не хватало, даже на судах штурманило много женщин, и именно к тем временам от-

носятся радиограмма, признанная впоследствии анекдотом: «В рейс идти не могу зпт старпом и второй помощник беремснны тчк Пришлите замену тчк Капитан парохода Кулонга Шаталин». Таким образом, Иван Остев вырос в командиры производства, стал Ванькой Остевым, хамил так, что уже не замечал своего хамства, но указания начальства выполнял нахраписто, знал, что лучшего места не найдет. Ваньку обходили стороной даже заслуженные капитаны, а о разной штурманской мелочи, вроде вот Сергея Баскакова, и говорить не приходится.

Так что Сергей постоял с полминуты в радиорубке, поразмыслил, что без капитана в рейс они все равно не уйдут, а капитана на борт на чем-нибудь доставлять придется, значит, доберутся и остальные. Но тут же он вспомнил о третьем штурмане, который хотел успеть пораньше откорректировать карты, и о втором механике, еще не закончившем регулировку насосов, и понял: шлюпку на берег отправлять надо.

Сергей зашел в рулевую рубку, поднял стекло и спросил у вахтенного, кто вызывал с берега.

— Третий помощник и еще кто-то... Ну что, идти?

— Минутку.

Сергей спустился вниз и взял вахтенного за рукав.

— Слушайте внимательно. Ветер пока несильный. Отсюда гребите вон к тому причалу, за ним есть удобный спуск, там посадите людей. За причалами совсем тихо. Потом под эстакадами пройдете в эту сторону и вон из-за того причала плывите сюда. Это опять будет почти по ветру. Так и передайте третьему штурману. Поняли? Больше трех человек в шлюпку не брать, если еще там кто будет — пусть добираются к диспетчеру и ждут там капитана. Поняли? Круг почему один бросили? Ладно, положите его на носовую банку, иначе в шлюпке не повернешься. Весла все? Руль на обратном пути поставьте. Ну, надеюсь, все ясно?

Вахтенный молча выслушал докучливый, длинный инструктаж, коротко взглядывая на Сергея и все больше отпачивая плотную нижнюю губу: «Выходит, зря ко мне придирался, идти все равно надо, прав я был, и давно бы все были на борту».

Они спустили шлюпку, вахтенный спрыгнул в нее, растегнул еще одну пуговицу на телогрейке, оттолкнулся от борта и взялся за весла. Грести Генка Исаев умел: у них

в поселке, на запруде, была лодочная станция с такими же лодками, и он порядочно там натренировался.

Сергей посмотрел, как он сильно выгребает вдоль волны, успокоился и пошел на мостик, а по дороге заглянул в кают-компанию за чашкой кофе.

Витя Епифайнен комбинировал себе бутерброд с колбасой, маслом и сыром.

— Что, Александрыч, есть неохота после вчерашних именин? Где был-то?

— Тут, напротив...

2

Накануне Сергей отпросился в книжный магазин и библиотеку за учебниками.

— Это не в стиле морских традиций, Сергей Александрович, — сказал капитан, — старпом перед уходом должен сидеть на борту, но мне не жалко. Я побуду до семнадцати ноль-ноль. Успевай. Я жене обещал с бельем помочь. Успевай.

Сергей знал, что эту стоянку капитан еще не прикасался к домашнему хозяйству и это грозило осложнениями всему экипажу: капитан ценил жену и в рейсе нервничал, если не успевал выстирать и перегладить белье, или потереть полы, или помыть окна, или сделать еще что-нибудь.

А Сергей опоздал. Точнее, он прибыл вовремя, однако судно уже угнали на дальний топливный склад допринять мазут. Сергей уложил в углу диспетчерской стопку книг и заручился у начальства согласием на катер к двадцати одному часу, невзирая на бурчание дежурного диспетчера Остева. Потом он съездил в магазин, который в Мурманске до сих пор нет-нет да и назовут «Люкс», купил подарок, какой подвернулся, в гастрономе внизу взял бутылку водки, охапку окуня холодного копчения и отправился на день рождения своего старинного, с полудетских лет, дружка Алешки Кузнецова.

В автобусе на нижней дороге была обычная давка, и Сергей похвалил себя за предусмотрительность: жирного окуня он замотал в пять или шесть газет, и китайский шевитовый плащ остался цел.

Парфюмерный набор «Шипр» и водка были спрятаны в боковых карманах и болтались где-то возле самых колен, когда он разыскивал в нижнеростинском поселке

Алешкин дом, перепрыгивая через мыльный ручей, канавы и подмерзлые лужи. Он так бы и не нашел этот домик среди клепанных в послевоенное время частных халуп, если бы сам Алешка не увидел его, когда выскочил на улицу. Кирпичное от загара Алешкино лицо враз посветлело.

— Эй, Александрыч, вот мои полдворца! Извините, обождите минуточку, я моментом, — Алешка застеснялся, — вот в эту дверь идите, я догоню.

Они дружили лет десяток назад, в школе юнг, и столкнулись на одном судне, только Сергей пришел туда штурманом после мореходки, Алешка же — матросом после демобилизации. И Алешка никак не соглашался называть его на «ты», даже один на один, так уж он был прямолинейно воспитан.

Сергей вошел в указанную дверь и для начала оказался в темном низком коридоре, в конце которого светилась замочная скважина и раздавались впереводку голоса. Он пошел на скважину, придерживаясь стенки, по дороге миновал еще две двери, наконец нашарил среди обивочной дерюги плоскую дверную ручку, потянул, а нужно было ее толкнуть.

Застолье уже началось, и Сергей увидел частокор табуретных ножек, каблучки, подошвы, ноги в чулках и брюках и фигуры людей до пояса. Нагнув голову, он поднялся на три ступеньки вверх и увидел всех, и все увидели его.

— Вот это гость! А где именинник? Алеха! Принимай начальство! Надька, ты хоть поухаживай, что ли.

Подошла Алешкина жена Надя.

— Раздевайтесь, Сергей Александрович. Спасибо, спасибо. Ну и еще раз. Вот здесь вешайте пальто.

Ее прозрачные глаза улыбались, и рыжеватые, будто бы проволочные, волосы, завязанные узлом, поднимали кверху чистый подбородок.

«И где Алешка такую красотулю выкопал?» — привычно подумал Сергей и незаметно, само собой, оказался за покрытым газетами дощатым столом, по правую руку от именинника.

Появился с улицы Алешка, и Сергею налили, как полагается, штрафную, и он с извинением выпил половину и почал немудрящую закуску, чтобы перестали обращать на него внимание.

За столом сидели незнакомые Сергею пары и человека

четыре матросов и мотористов с их парохода. Они не знали, как быть при нем, и Сергей старался есть и шутить в тон разговору, и вечеринка потихоньку двинулась дальше, и никто не замечал крихтения ребенка в углу, в деревянной качке.

— Леша, с днем рождения тебя! Подарки я Наде отдал, а пацану, извини, ничего путного не взял, вот шоколадка, ешьте с мамой. Кстати, пацан у вас что-то беспокоится.

Надя поднялась с табуретки, побежала в угол, заохала, стала перепеленывать ребенка, качать, потом, отвернувшись, дала грудь.

Алешка покраснелся, ерошил чубчик, довольно похлопывал себя по груди, снял пиджак, расстегнул бобочку, начал переставлять графины с яблочным морсом, облил водкой тушеную картошку, опять застеснялся и предложил пойти покурить.

— Подожди, Алеша, я через десять-пятнадцать минут совсем уходить буду. Нет, не упрашивай. Катер ждет, капитана, сам знаешь, подменить надо. Так что налей всем по граммульке, выпьем, закусим, и я побегу в порт. Времени в обрез.

И они еще выпили и поели тушеной картошки под спиртовым соусом. К столу подседа Надя с толстогубым, удивительно похожим на Алешку мальчишкой, и Сергей сказал об этом Алешке.

— А как же? Все правильно, — ответил тот.

— Мордочка у него рязанская, а глазки — татарские, где же он похож не будет? Вылитый папка, — засмеялась Надя. — И зубастый такой же. Вот, пощупайте.

И Сергей, протерев платком, сунул парню согнутый мизинец, и тот попилил ему палец сомкнутыми деснами, и удивительно было, откуда у семимесячного младенца такая сила. Под тонким теплым ребром десен угадывались твердые остренькие бугорки.

— Силен малыш, — одобрил Сергей, и гости вокруг обрадовались, и тогда Сергей отодвинул табуретку, попрощался со всеми за руку, пожелал веселых именин и, прихватив плащ, спустился вниз, в коридор. Алешка надел макинтош и пошел его провожать.

— Ну что, Алеша, вот теперь у вас и пойдет настоящее веселье? — спросил Сергей, когда они ошупью выбрались из коридора и остановились в темном проулке.

Алешка закурил папиросу, посмотрел, как гаснет на лету спичка, потоптался, хрустя инеем, на траве.

— По правде сказать, так и есть, Александрыч. Все-таки вы не нашего поля ягода. Если б вы хоть росли помедленнее, а то что ни год — то новая должность... Я не завидую, у каждого по-своему жизнь крутится, Александрыч, извини.

— Оставь ты эти условности, Алексей.

— Чего там! Все равно мы такими корешами не будем, как раньше, чтобы одна тельняшка на двоих. Чего же тыкать? Пошли, я провожу, тут ноги запросто поломать можно.

Они двинулись с косогора, вдоль канавы, вниз, впереди Алешка в длинном макинтоше и кепке, позади — Сергей в фуражке и китайском плаще. Наступило октябрьское новолуние, темнело рано, и Сергей несколько раз поскользнулся и вляпался в грязь подо льдом. Легче было идти только в полосах света, лежащих против окон. Алешка вел знакомой хоженной тропкой, и они только один раз перебрались через парной от теплых стоков ручей по старой двери, переброшенной с берега на берег. Молчали до самой автобусной остановки.

Алешка поднял лицо к фонарю над указателем. Глаза у него были светлые, такие же, как у Нади.

— Эх, единственный фонарь на всю округу! Скорее бы хату получить, полтора года по частным маюсь. Холостым был — не знал, что это за морока.

— Тебе квартиру — ты еще одного кузнечика заведешь, Алеша.

— Обязательно. А как же? Девочку. Вот потом — завяжу. И за меня, и за Надю смена останется.

— Живешь уверенно.

— Сказали тоже... Вот освоимся — подучусь немного. А может, не буду. Боцман-то из меня получится? Ну и хватит мне боцманских заработков. Детей — тех доведу. В случае чего, и за себя заставлю, коли мне не удалось, а как же!

— Водки не пей много.

— Сегодня можно, пятый день в году.

— По-моему, еще только четвертый, — засмеялся Сергей, — пятый — это седьмое ноября в твоём календаре.

— Ну так.

Они посторонились, потому что мимо проревели на вы-

боинах несколько тяжелых грузовиков. Крылья грязи прошуршали по обочине, и красные огоньки вперемежку помигали у поворота на Угольной.

— Укрыться некуда, наверняка забрызгало...

— Да, никак толком не замерзнет. В прошлом году покруче забирало. В это время снег сплошь был. А тут — ни то ни се.

— Ты на меня за прошлый год все-таки не обижайся, Леша.

— Зря, Александрыч. Все правильно было. Это я еще спасибо сказать должен. И давай не будем.

— Из-за чего, казалось бы, из-за капусты... Ладно, Алеша, спасибо тебе, иди к гостям.

— Подожду. Тут ведь пошаливают, раздеть могут. Вдвоем-то отмахнемся, если что...

— Сейчас еще не поздно. Да и не пьян я. Ну, давай пять, Леша, спасибо тебе за гостеприимство. Беги, беги до дому, не заставляй Надю волноваться. Я сейчас голосовать буду, не то на катер опоздаю, беги. Ну, пока!

3

Сергей уже давно выпил кофе, покурил, а шляпка с людьми все не появлялась из-за причалов.

Пришел на мостик Витя Епифайнен, озабоченно пошмыгал носом.

— У меня на вахту с восьмью некого ставить, Александрыч. Когда людей привезут?

— Двое должны на шлюпке со штурманом прибыть, остальные к десяти на катере, вместе с капитаном.

— Подходящую баню он тебе вчера устроил?

— Нормальную. Особую не за что. Так, легкая припарочка была, не со зла. «Учебники, — говорит, — привезли? А чего от вас пахнет?» Чуткий.

— Чего же ты не сказал, что был на именинах?

— Это еще зачем? Я за книжками ездил, а не на именины.

— Не забывается старая дружба?

— Не все сразу, Витя...

— Филонит у тебя матросик, что-то долго шляпки нет.

— Боюсь, как бы не задуло. Ветер северный. А Исаев упрям, дай боже.

— Тот еще гусяра, — поддакнул Витя.

— Чего они там канительятся? Судно не на месте стоит, ни черта не видно, что за причалом делается... Витя, покури тут, я еще за кофейком сбегаю.

Сергей налил внизу кофе и опять поднялся с чашкой на мостик. Витя Елифайнен покуривал, сидя в капитанском походном кресле и толчками ног раскручиваясь в нем то на правый борт, то на левый.

— Помнишь, Александрыч, как ты прошлый год с капустой в Амдерме добирался? Я думал — все, утонули. А тут что? Тут залив.

— Раз на раз не приходится. Смотря как рулить... В Амдерме тоже так еще было...

Сергей закурил, согнал Витю с капитанского стула, сел сам. Витя пошмыгал носом и отошел в угол рубки.

...Да, всяко было. И они чуть не отправились в гости к русалкам на рейде Амдермы, в прошлом году. И надо же было третьему штурману химичить с продуктами! Они шли тогда из Арктики в Архангельск, но уже за Диксоном стало ясно, что харчи на исходе, а овощей вообще нет, кроме сушеной моркови. Вдоль берега, в разводах, при южном ветре, они за двое суток добрались до Амдермы, и тут прорвался давно вызревший бунт. Председатель судового комитета деликатно осведомил капитана о недовольстве команды; капитан сам едва сдерживался за каждым обедом; а третий штурман уже дня четыре, от самого архипелага Норденшельда, являлся в кают-компанию к обеду, когда там уже никого не было, потому что это с его разрешения артельщик передал овощи на один из проходных танкеров в обмен на бочку свежесоленого гольца. Голец оказался неплохим, но бочка по приказанию капитана была закрыта и опечатана в шкиперской кладовой, до прокуратуры.

Короче говоря, пришлось стать на якорь поближе к берегу, насколько позволила глубина на мелководном амдермском рейде, и Сергей вызвался сходить с двумя матросами на рабочей шлюпке за овощами. Грести в шлюпку сел один парень из курсантов да еще Алешка. Спускать большой двадцативесельный вельбот было бы слишком изнурительно для команды. К тому же, несмотря на знакомства в порту, вряд ли можно было надеяться на то, что их осыплют овощами первого завоза, которые ой как ценились после полярной зимы... Так оно и получилось.

Они быстро догребли до берега, и Сергею посредством старых связей удалось в течение двух часов заполучить два ящика свежей капусты и почти целый мешок картофеля. Этого должно было хватить до Архангельска, если экономить.

Пока возились с овощами, начал сыпать снежок и ветер стал заходить с моря, погода испортилась, нужно было спешить. А тут еще охранник подстрелил в протоке нерпу, и они минут пятнадцать искали ее, кружа по воде, потому что охранник опомнился и стал их просить найти нерпу, чтобы отчитаться за винтовочный патрон. Вода была мутная, нерпы они не нашли, погода ухудшилась, они разместили все как следует в шлюпке и пошли из протоки. На выходе увидели убитую нерпу, но возвращаться не стали. Нерпочка была совсем маленькая и начинала тонуть. Сергей прикинул, что специй у них на борту еще много и если как следует сдобрить мясо и печень перцем и лавровым листом, то будет вполне съедобно, и они втащили нерпу в шлюпку. Алешка послушно орудовал отпорным крюком, но на лице его было выражение брезгливости и страха. Когда нерпа уже лежала вдоль шлюпки под банками, Алешка сказал:

— Может, выкинем ее, Александрыч? Не наша все-таки... И не видно, куда она застрелена.

— Пулей в голову убита. Видишь точку? А кровь вся в воду вытекла, потому она и тонуть стала. Эта еще долго держалась, обычно они сразу тонут. Ладно, Лешка, весла на воду! Котлетами я сам займусь, спасибо говорить будешь... Навались!

Нужно было грести больше трех километров, и прихватило их как раз посередине. Ветер усиливался и усиливался, холодало, появились первые барашки, и потом вдруг сразу задуло с севера, и за пять минут они оказались среди сплошных пенных гребней. У Сергея пропало сердце, он понял, что они могут и не дойти до судна на своей грузежной шлюпчонке, но не оставалось ничего другого, как держаться вразрез волне, по возможности продвигаться к судну да стараться не влезать под нависающий, шипящий и крутящийся гребень, тогда захлестнет, и они хоть и не утонут, в капковых бушлатах, но в такой воде и десяти минут не жильцы.

Шлюпка перестала слушаться руля, и Сергею пришлось взять рулевое весло. С ним было даже теплее. Ма-

тросы гребли не оборачиваясь, только зажмуривались, когда их возносило над гребнем, и Алешка еще цедил воздух сквозь зубы при этом. Курсант как прикусил губы при первом порыве, так разжал их, только когда оказался уже в каюте. Сергей добренько покрикивал:

— А ну, Лешка, навались! Так ее! Легче обе! А ну-ка поднимемся! А сейчас под гору... Обе на воду! Теперь легче, Леша. И еще разок!..

Потом Алешка оглянулся через плечо, «поймал щуку», весло вывихнулось, вода хлынула через борт. Алешка, согнувшись, схватился обеими руками за скамейку, но Сергей успел выровнять шлюпку, взмахнул рулевым веслом второй раз и, как было на замахе, ударил этим веслом Алешку по голове:

— Греби, падла!

Их спасло только то, что впереди несло по ветру полосу мелкобитого льда и волна за ним была поменьше, потому что Алешка, схватившись после удара за весло, оправился не сразу и, наверное, только через минуту стал грести как надо.

Еще через час с лишним они добрались под корму судна, привязались попрочнее, матросы сверху вытащили на концах их самих и овощи, судно снялось с якоря и двинулось к самой кромке шедших с севера льдов, и тогда подняли шлюпку с нерпой на борт. Потом они сутки с лишним пробивались во льдах до пролива Югорский Шар, и, конечно, овощей не хватило до Архангельска. Третьего штурмана по ходатайству судового комитета простили с последним предупреждением. Алешка недели две ходил с опухшей багровой щекой, но никто на судне никогда не узнал, откуда возник у него такой синяк...

4

Витя Епифайнен серчал недолго. Он выбрался из угла рубки, посвистел в машинную переговорную трубу, узнал, как там дела у вахты, — потерпи, потерпи, потерпи немного, вон уже шлюпка с берега идет, — и подошел к Сергею.

— Ну что? Столкнул меня и доволен? Успеешь еще насидеться в капитанском кресле!..

— Не гуди, Витя. Ты же в нем все ходовые вахты отбываешь.

— С тобой отбудешь... Вон, смотри, шлюпка идет. Ну дают ребята!

Сергей глянул вдоль причалов и увидел шлюпку совсем не там, где ожидал. Она вывернулась с подветренной стороны причалов, глубоко осевшая на корму. Задранный нос закрывал сидящих, не видно было, сколько там человек, только качались плечи двух гребцов, вразной плюхали весла и торчала над всем тощая, «фитильная» фигура третьего штурмана.

— Олухи, что же они делают! — забормотал Сергей, хватая бинокль. — Человек шесть, не меньше, сидят... Ох обормоты, ох олухи, что же это такое, куда же они лезут, черт поберит!

Он действительно насчитал в бинокль шесть человек, все они сидели на двух кормовых банках, а третий штурман с вахтенным матросом Генкой Исаевым на самой корме делили шлюпочную власть, вдвоем держась за концы поперечного голландского румпеля. Подветренный гребец частил веслом, пытался развернуть шлюпку носом на ветер, на судно, однако нос парусил, и шлюпку вперевалку несло вдоль волны.

— Нельзя им встречь волне, — сказал за спиной Витя Епифайнен, — на первом же кивке залетит через корму.

— Витя, беги готовь экстренно машину! Пар на брашпиль, срочно, — Сергей оглянулся, но Вити Епифайнена уже не было, только слышалось, как внизу свистят под Витей полированные поручни трапов.

Сергей заорал в жестяной мегафон, чувствуя, что вот-вот взорвется горло:

— На шлюпке! Носом на волну ни в коем случае не поворачивать! Не поворачивать ни в коем случае! Идите потихоньку обратно! Обратно! Назад! Или под корму! Только под корму! Я подам вам бросательный конец! К судну не грести!

Весла на шлюпке поднялись, поболтались в воздухе и снова упали на воду. Они все-таки решили идти к судну.

Сергей побежал на ютовую палубу, выдернул из держателей два спасательных круга, привязал к ним бросательный конец и вышвырнул в воду. Круги, волоча за собой бросательный, медленно поплыли по ветру и волне. Шлюпка уже приблизилась, и стало видно, что бросательный короток. Сергей нырнул в сушилку, сорвал с крючка еще влажную бухту другого бросательного, опять побежал

на корму, а конец зацепился у комингса, распустился и начал запутываться с середины, но уже некогда было этим заниматься, но заниматься этим пришлось, потому что незапутанного конца оказалось с пяток метров и, связанные вместе, бросательные все равно не достали бы до шлюпки. Хотя бы ее не так сильно дрейфовало!

Закончив завтрак, появился на юте улыбающийся подвахтенный матрос, но сытое его довольство исчезло, как только он все сообразил, увидев Сергея. Он тоже повалился на четвереньки, стал растаскивать по палубе узлы мокрого плетеного шнура.

— Грести перестали, — вдруг с придыханием сказал он.

Сергей оглянулся. Шлюпка качалась прямо за кормой, в нескольких метрах от кругов. Ее плоская, заполненная людьми, корма всего на несколько сантиметров возвышалась над водой. Гребцы мочили весла в воде, пошевеливая ими вперед-назад. Потом один из гребцов затабил, резко повел весло назад, другой — вперед, и шлюпка пошла разворачиваться против волны.

— Не смейте! Нельзя этого делать! Назад! — Не понимая, что делает, Сергей колотил кулаками по стальным пруткам кормовых лееров. — Назад, я вам говорю!

Шлюпка стала против волны, гребцы навалились на весла, нос вскинулся, и Сергей отчетливо, словно сам был в шлюпке, увидел, как плавно, во всю ширину кормы, влилась в шлюпку гладкая серая вода и шлюпка ушла ниже волны...

Потом, на следствии, Сергею сказали, что после этого он делал все верно, все как требуют хорошая морская практика и устав, и он не стал возражать. Да, была сыграна шлюпочная тревога, и объявлено, что человек за бортом, и поднят нужный флаг международного свода, и оповещены ближайшие корабли, и спущен на воду спасательный вельбот, и Сергею говорили, что он один справился на кормовых таях и оборвал ногти, снимая примерзлый шлюпочный чехол, но сам Сергей стал помнить себя только с той секунды, когда оказался в спасательном вельботе за рулем и подал первую команду на весла.

Полузатопленную рабочую шлюпку относило к берегу, а люди почему-то расплылись от нее в разные стороны. В волнах мелькало несколько голов. К ним спешил шедший мимо катер, и Сергей двинулся мимо спасательных

кругов по шлюпочному следу. Понукать никого не приходилось. Гребцы дугой выгибали длинные тяжелые весла, даже мотористы, которых каждый раз приходилось с боем выгонять на шлюпочные учения. И никто не смотрел на Сергея.

Попались среди волн с полдесяток больших домашних пирогов, кепка, и, когда были уже недалеко от шлюпки, увидели в воде бежевый пузырь. Человек недвижно висел лицом вниз, мокрый надувшийся мантиль поддерживал его на воде. Его долго не удавалось схватить, и наконец один из матросов подцепил его отпорным крюком, и Сергей почему-то подумал: «Как Алешка ту нерпу в Амдерме...» Его втащили в вельбот. Это был кочегар Никандров.

Сергей положил его животом к себе на колено и вылил из него все, что в нем было. Оказалось, что никто в вельботе, кроме Сергея, не умеет оказывать помощь или, может быть, все еще боялись, и Сергей приказал боцману сесть за руль, а сам разложил Никандрова на сланях в вельботе. Тогда еще не знали, что лучше всего делать искусственное дыхание вдыхая утопленнику воздух через рот, и Сергей принялся надавливать Никандрову на грудь, сводить и разводять руки. Никандровские запястья были уже как холодная резина, но Сергей ожесточенно сгибался и выпрямлялся, зная, что делать это надо непрерывно и долго. Боцман командовал, вельбот крутился на волнах, пот уже заливал глаза, а Сергей все сгибался и выпрямлялся, стоя над кочегаром на коленях. Руки глухо стукнулись о вельбот, на правой руке с внутренней стороны поблескивали часы, и Сергей запомнил стоявшее на них время: стрелки замерли, когда часы оказались в воде. «Эх, Никандрыч, Никандрыч, как же ты так, Никандрыч?..»

Никандров на вчерашних именинах у Алешки сидел рядом с Сергеем, и спешил первый чокнуться с ним, и все подвигал закуску. У него из родных была только мама где-то в Предуралье, и Никандров копил деньги ей на домик.

А теперь он лежал мокрый и грязный на днище вельбота. Тело его временами становилось податливее, казалось, что он вот-вот оживет, но это только казалось. У него все время западал язык, и Сергей заставил одного из матросов придерживать язык за кончик, а потом уже другие матросы стали по очереди делать искусственное дыхание, и Сергей снова сел за руль.

На рейде крутилось уже четыре шлюпки, и катер бук-

сировал затопленную шлюпку к судну, и никого не было видно над водой.

Тогда они подгрести к берегу, и остановили на нижнем шоссе первый же попавшийся грузовик, и отвезли на нем Никандрова в больницу. В приемном покое медсестричке стало плохо, и руки у нее дрожали, когда она делала Никандрову укол. Сергей сдал Никандрова врачам, оставил для работы трех матросов и на этом же грузовике поехал к причалу, а по дороге вспомнил, что медсестричка из приемного покоя еще не так давно в клубе приглашала Никандрова на дамское танго и, может быть, поэтому ей стало плохо.

Воспоминание об этом обожгло его много времени спустя, уже в тюрьме, а тогда он просто спешил попасть на корабль, и чужая боль была от него так же далека, как своя.

Он даже не поздоровался с капитаном.

Третий штурман, закутанный, лежал после душа в постели и заулыбался навстречу Сергею:

— Ну, Александрыч, вот это, я понимаю, купанье!

— Сколько вас было в шлюпке?

— А что? Я понимаю, многовато нас село...

— Я не об этом. Сколько?

— Так... Шесть. Нет, семь.

— Кто да кто?

— Ну, мы с вахтенным, Сенькин, два моториста да еще Никандров с Алешей Кузнецовым...

— Они все на борту, — сказал от двери капитан, — кроме Кузнецова и Никандрова.

— Никандров в больнице. Возьму людей, пойду искать Кузнецова.

— Не надо, Сергей Александрович, — мягко сказал капитан. — Погода разыгрывается, на веслах вас самих спасать придется. Сейчас катера отправим. Мне Ванька Остев с перепугу их две штуки выделил, нашлись моментально. Посиди. Возьми вот папироску.

Капитан ушел.

— Чего ты волнуешься, Александрыч? — блаженно вытянулся в койке третий штурман. — Он уже давно дома, я так понимаю. Благо дом под боком. Мы чего задержались-то? Он же с мотористами домой за пирогами бегал, ребят угостить. Чего, говорит, уйдем, а пироги останутся... Вот и задержались.

— Ты хоть понимаешь, что мы с тобой наделали?

— Как это — мы?

— А! Кто в шлюпке должен был быть командиром? Ты или Генка Исаев?

— Генку со шлюпки и сняли. Он в нее как клещ вцепился, вот это я понимаю!

— За шлюпку можно было всем держаться, она бы на плаву поддержала. А вы куда расплылись? Да еще в сторону от кругов!

— Ну чего, Александрыч? Благо выудили всех. Никандрова в больнице выходят. Лешка, я уверен, дома.

— Мертвый Никандров. И дай нам с тобой бог, чтобы Алешка жив остался...

5

Через час началась метель, а еще через час на бакштов за кормой стал один из поисковых катеров и оттуда передала поднятую с воды у берега кепку. Ее признали все. Кепку носил Алешка Кузнецов.

Выход в рейс отложили на сутки. На судно понаехало народу: врачи, инструктор парткома, инженер по технике безопасности и оба заместителя начальника. Сергея пока не беспокоили. Капитан увел всех к себе, запер Сергея в каюте с наказом правильно и сосредоточенно заполнить судовой журнал. Сделать это было несложно: время, когда затонула шлюпка, Сергей знал, а остальные события накручивались вокруг этого момента. И еще капитан сказал: «Не забудь оговорить все свои действия, это у тебя единственный оправдательный документ...»

Над заливом шумел северный ветер, хлестала волна, и снег валил так густо, что не успевал таять в воде. Берегов не было видно.

Сергей заполнил журнал, снял с доски запасной ключ, открыл дверь и отнес журнал капитану. В салоне у капитана народу было битком.

— Вот что, старпом, — сказал один из двух заместителей начальника, — напишите-ка вы докладную на мое имя обо всем случившемся. Да-да, прямо сейчас.

— Извините, Степан Алексеевич, — вмешался капитан, — может, мы дадим ему передохнуть чуток. Ну какая с него сейчас докладная?

— Когда этим займется прокурор, будет поздно.

— И все-таки я прошу, если можно, отложить это на завтра.

— Учтите, это и ваше дело. Вы ведь тоже отвечать будете!

— Поэтому я и прошу вас...

— Хорошо. Завтра к двенадцати. Второе, старпом: как только подстихнет, с врачом и инструктором парткома отправитесь домой к этому... к Кузнецову. Выясните, дома ли он. Кстати, говорят, вы с ним приятели были? Учтите, все причалы обследованы и все корабли вокруг опрошены. Он может быть только дома или... Завтра докладную мне к двенадцати. Остальным будет руководить Павел Семенович, — заместитель кивнул на инструктора парткома.

— Понял. Разрешите уйти?

— Будьте у себя в каюте.

Сергей еще около часа провалялся на каютном диване, а потом пришел Витя Епифайнен.

— Чего, Александрыч, закис? Всяко в жизни бывает. Может, и еще хуже. Вон когда у нас в мореходке сразу пять гавриков утонуло, знаешь что было...

— Развлекаешь, Витюня? Мне уже Николай Демидыч говорит: «Как же ты Алешку, парня такого, комсорга нашего, утопил?» А я еще и дома у Алешки не был, может, правда, дома он...

— А ты хочешь, чтобы тебе говорили: «Молодец, Сергей Александрыч, топи дальше!»?

Сергей лег лицом к переборке.

Витя шмыгнул носом:

— Может, маленькую выпьешь? Для бодрости? У меня есть. Не хочешь? Ну полежи. А знаешь, у меня и машина и брашпиль мигом готовы были. Толку-то? Тут не море. Ну полежи...

Полежать не пришлось.

Ветер утих, прояснилось, сгладилась под снегом волна, Сергея с врачом и инструктором отправили на катере на берег.

Земля сверкала белизной. Подмораживало. Чернели только машинные колеи на нижней дороге, и Сергей с трудом нашел вчерашнюю тропку через ручей. Поскальзываясь и поддерживая полную врачиху, они добрались до Алешкиного дома, и, пока шли, Сергей все оглядывал косячные проулки, будто хотел увидеть борозду от проползшего здесь Алешки. Все было чисто. Чисто было

и перед домом, и только за угол сворачивала торопливая узкая стежка. Снег плотно лежал на низкой крыше, на ветках двух кустиков у стены и вдоль оконных наличников.

Сергей потоптался перед дверью в коридор, хотел было ее толкнуть, но увидел, что накидная планка заткнута щепочкой и цепочка следов за угол бежала от этой двери. Дома никого не было. Он тряхнул дверь. Зазвенела планка, посыпался снег.

Из второй половины дома вышла накрытая шалью женщина, в халате и галошах на босу ногу.

— Вам что тут, гражданин?

— Я к Кузнецовым...

— Она в магазин убежала, просила ребенка глянуть, если закричит...

— Алексей не приходил сегодня домой?

— Сам-то? Не слышала. Утром забегал с ребятами, дак ушел. Я как раз со смены вернулась.

— Та-ак, — сказал Сергей. Инструктор с врачихой переглянулись. — Та-ак. Да. Ну что же. — Он сел на покрытую снегом завалину. — Та-ак.

— Ключ у меня есть от комнаты, только я вам не дам. Тут обождете. Она скоро зайвится, — женщина хлопнула галошами и ушла.

Инструктор с врачихой негромко переговаривались. Инструктор курил.

Сергей, сидя, утрамбовывал подошвами снег. Снег был белый и сухой и не хотел сразу плотно спрессовываться под ногами, тянулся за подошвами и осыпался с краев.

Разглядывая добротные ранты ботинок, Сергей вспомнил, как они познакомились с Алешкой.

Выходит, это было давно, через три года после окончания войны. Они сдавали вступительные экзамены в мореходку, жить в прибалтийском городке было негде, и им всем на ночь предоставляли большой кубрик в огромной, холодной, дореволюционной постройке кавалергардской казарме. За несколько экзаменационных дней в кубрике образовались свои компанейские уголки, и был порядок, пока до отбоя за ним смотрели старшины из сверхсрочников и старших юнг. Веселье начиналось после отбоя. Где тихо пели под гитару, где играли в карты, где рассказывали лихие послевоенные истории, от которых полыхали уши и холодело в душе. Кто-то воровал, и пойманного с полчиным жестоко били, устраивая «темную» под хлопчатобу-

мажным финским одеялом, и это была первая из честных флотских традиций, которую принял Сергей. Редко кому удавалось что-нибудь почитать из учебника в свете белой ночи, лежа на двухэтажной кровати, потому что затихали только к рассвету, когда сваливал сон. Однако наибольшее веселье вызывал «велосипед».

Однажды Сергей проснулся оттого, что его тащили с верхней койки.

Вокруг стоял крик. Круглолицый коренастый парнишка в домотканой косоворотке прижался спиной к его койке, а на него лезли три разгоряченных кореша. В проходе толпились любопытные.

— Тебе что, больше других надо?

— Зачем вы подло делаете? Зачем нитками привязываете? Вы что, фашисты?

— Ты еще обзываешься, мордатый! Да ты знаешь, на кого тянешь? Мы...

Сергей спрыгнул с койки, схватил на всякий случай свой солдатский ботинок с подковкой на каблучке, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не появился дежурный старшина.

Двоих корешков как ветром сдуло, но одного они все-таки прижали к койке, и старшина увел его с собой. С такими начальство не церемонилось: поступающих было больше чем надо.

Когда толпа разошлась, парнишка, еще вздрагивая и едва не плача, сказал Сергею:

— Чересчур крепко ты спишь! Они же тебе бумагу ниткой к пальцам привязывали, знаешь какой был бы «велосипед»?

Сергей уже видел эту забаву: спящему между пальцами ног всовывали клочки бумаги и поджигали, и тот спростоня, от боли, сучил ногами, будто крутил педали. Это называлось «велосипед».

Так они познакомились. Выходит, давно это было, и с того вечера пошла их общая жизнь, а до того она текла раздельно, и теперь вот...

Что же будет теперь?

Захрустел снежок за углом, быстро вышла Надя и остановилась. Редкие снежинки светились на ее рыжеватых волосах.

— Здравствуйте, Сергей Александрович! Вы что?.. — сказала она, и глаза ее стали темнеть. — Вы что?

— Мы к вам по делу, — сказал инструктор парткома, — здесь холодно, пойдемте в дом.

— Что, Сергей Александрович, случилось что? Ну что вы онемели! — говорила она, открывая дверь, идя по коридору, звякая ключом во второй двери. — Ну что вы, говорите же!

— Да так, Надя, ты только не волнуйся, тут видишь ли что...

Она вбежала в комнату, бросила авоську с покупками на пол.

— Что такое? Ну говорите же вы! — губы у нее побелели.

Врачиха достала из кармана платок и скляночку с нашатырным спиртом.

— Что? Что вы с ним сделали?! — закричала Надя, и ребенок в люльке заплакал вслед за ней. Сергей взялся рукой за стену.

— Крепитесь, Надежда Васильевна, — сказал инструктор парткома и кашлянул. — Ваш Алеша погиб...

6

Как и много лет назад, под причалами течет темная вода. Ее цвет почти не меняется с годами, с тех пор как люди вытеснили воду деревянными и бетонными эстакадами, дамбами, насыпями, залежами тлеющих бревен и вдавили в нее стальные корпуса кораблей, на добрую треть начиненные нефтью.

Я никогда не видел эту воду голубой. Даже в июльские дни, когда город сушит антициклон и солнце крутится без передышки, — даже в эти синие дни вода остается прежней, плотной, палево-серой, чуть повеселей под ногами и совсем чужой подальше, к повороту в следующее колено залива.

Смесь дыма и тумана висит над пересекающимися кружевными тропинками катеров, суда на якорях шевелятся в струе груженых рудовозов, вскидываются объевшиеся портовые чайки, голова нерпы, словно круглый камень, булькает в воде, и кусок пенопласта на каменистой отмели светится, как последний остаток недавно ушедшего льда.

Живые и мертвые освятили море; и так же, как сплетаются в порту причалы, корабли, берега, туман, грязь, солн-

це, время и мили, — вот так же завязываются в порту удачные и горькие судьбы.

От слабого толчка портовой волны вздрагивают души тех, из кого потом получаются мужчины; первая пригоршня брызг в лицо неожиданна, как пощечина; стена северного тумана надвигается подобно жизни, и идущий впереди пароход исчезает в этом тумане так безвозвратно, как могут уходить только люди; но нельзя забывать ничего, ибо мы не так безразличны, как вода, что омывает причалы.

1970

ПОДВАХТА

I

...За пролетевшим мимо мотоциклом первой сорвалась маленькая собачка (такие всегда срываются первыми — и неожиданно), за нею — длинный пес в клочьях репейника, а за ними — бурая дворняга, сразу утонувшая в пыли и мотоциклетном дыму.

Вой мотоцикла и лай двигались переулками по кругу, посолонь — и вот всё снова появилось перед домом, только теперь за собаками мчались двое мальчишек (в одном из них, в алой рубашке, Гаврила Тебеньков узнал своего внука Ромку), а впереди мотоцикла неслась вдоль пыльных кустов куча растрепанно кудахтавших кур.

На следующем витке — пыли, гама и народу прибавилось: за мальчишками бежала ядреная соседка Груша, грозя им оборванной бельевой веревкой с мокрым лифчиком, прицепленным к ней; за Грушей, сверкая очками, мелко тряся поджарый (он и так каждое утро занимался бегом трусцой) сосед-пенсионер Иван Кириллыч; за Кириллычем — в отдалении — страстно топотало коровье стадо, и Тебеньков схватился за перекошенную калиточную щеколду.

Корявая щеколда, как всегда бывает в таких случаях, не поддавалась, и Тебеньков просто сорвал ее, едва снова увидел через забор яркую Ромкину рубашку, и вовремя! От стада уже оторвался широкомордый пегий удивительно знакомый бык, широко ронявший пену и нацеливший лоб свой именно на цветное пятно впереди.

Так Тебеньков оказался между мчавшимся быком и мчавшимся Ромкой, и сначала ему никак не удавалось догнать внука, а бык настигал. Это Тебеньков чувствовал спиной, но все же — для верности — он оглянулся на повороте. Бык был рядом; за ним, раскачивая тяжелое вымя, волнами махали коровы, за коровами снежно белели хала-

ты молодых доярок, и за ними уже чернели бороды и транзисторы бойцов студенческих строительных отрядов.

Кружась вместе со всеми по переулкам, Тебеньков не считал кругов, хотя и видел время от времени сверкающую вдали озерную воду, пот заливал его покрытое пылью лицо, ноги отказывали, ватные (шут бы побрал вчерашний — с приездом! — родственный стол!), и влажное дыхание быка вдруг обожгло тебеньковскую шею...

И тогда Тебеньков перегнал Ивана Кириллыча, который на бегу погрозил ему пальцем и прокричал: «Пожарных! Пожарных сюда немедленно!» Перегнал Тебеньков, прыгая через выбоины, и Грушу, едва уклоняясь от ее веревки; еще в два прыжка достиг Ромки, и, когда бык готов был уже поддеть их обоих на рога, они оказались рядом со своею полуотворенной калиткой, и Тебеньков успел втолкнуть в нее Ромку и упал в нее сам, запаленно шепча:

— Ромушка, Ромушка! Пусть их кружатся. Отлежимся. Отдышимся. Сами по себе побудем!..

Пока он лежал на мураве (а рядом бешено колотилось Ромушкино сердечко), он услышал и понял, что мотоцикла впереди давным-давно нет, будто бы центробежная сила унесла его в околосемное пространство, и что поэтому гоньба по кругу продолжается неизвестно зачем.

Тогда Тебеньков поднялся на колени и с высоты своего роста увидел, как, отбиваясь от быка, Груша хлестнула его по морде и бык рухнул в пыль на колени, ослепленный повисшим на рогах Грушиным лифчиком... И тогда куры, взорвавшись, перепорхнули придорожные кусты; коровы с доярками и бородатыми ухажерами, побренькивая колокольчиками и транзисторами, устремились вдоль озера на дальние поля; Ромкин приятель свистнул собакам, и те покорно легли в тень; бык тяжело поднялся и мирно побрел за своим стадом; Груша, плача и утираясь снятым с бычьих рогов лифчиком, пошла к себе домой (выговаривая при этом через забор Тебенькову: «Да ты бы, орясина, за рога его мог свалить, а ты?..»); и только неутомимый Иван Кириллыч круг за кругом продолжал дробно утрамбовывать пыль модными кроссовками, пока не упали и не затерялись в пыли его очки (несмотря на стягивающую — через затылок — дужки резинку).

— Слышь, Иван Кириллыч! — окликнул его Тебеньков. — Слышь, какие мы молодцы? Мы первыми сошли с общего круга!

— У вас неверное представление об обществе! — строгим голосом ответил, замедляя бег и останавливаясь, Иван Кириллыч. И вдруг смягчился: — Совсем вы задремались, Гаврил Гаврилыч! А вас на подвахту вызывают... Гаври-ил Гаври-лыч!..

Тещин голос в такие минуты был (традиционно) про-никновенен, и Тебеньков, приподымаясь с дивана, мотнул тяжелою головой. Это надо же!

Чайник уже, было слышно, посвистывал на кухне, быстро двигались за окном низкие мурманские облака, и теща Раиса Ивановна, поджав губы и притом улыбаясь, терпеливо ждала с телефонною трубкой в подоле передника (руки у тещи были в мыльной пене).

— Хо! — сказал в трубку Тебеньков. — Слушаю.

— Гаврилыч, в темпе! Грека от девятнадцатого в море, трескоеда — в порт, потом атомоход на девиацию и на выход, подождешь нашего разбойника и утром можешь получить получку. Да! Между трескоедом и ледаколом заскочи в лекторскую группу, Евгения Николаевна тебя срочно требует. И не забудь — сегодня техучеба, а завтра — ДНД! — высыпал капитан портнадзора.

— Все знаю, — с досадою сказал Тебеньков, — дал бы хоть проснуться!

— Не понял.

— Как хоть второго-то зовут? Заладили — трескоед! А я кто, по-твоему?

— Ты? — удивились в портнадзоре. — Ты — депутат Балтики, Гаврилыч! Ну, проснулся? Лесовоз «Семжалес» второй.

— Вот и ладно, — округло ответил Тебеньков. — Далась тебе эта злосчастливая треска!

2

Капитаном на старом паровом греке «Фаэтонос» оказался итальянец, экипаж составлен был из людей самого разного цвета кожи (в основном, правда, желтого), люковые крышки не поддавались ржавым лебедочным тросам, чтобы закрыться, и редкий снежок с редким дождичком смачивали только что загруженный в трюма апатит. Старпом «Фаэтоноса», толстый усач, высунувшись из окна, отдавал команды на ломаном английском, а его безусый, зато обильно курчавый мастер метался по мостику, разве-

вая по воздуху бакенбарды, и восклицал в музыкальном режиме форте, то и дело указывая то вниз на экипаж, то на старпома:

— The crew — борделло! Chief-mate — кретино!! Два часа не могут закрыть люки! И где гарантия, что они закроются?! Как вы полагаете, пайлот, я могу идти с ними в море?!

Тебеньков дипломатично молчал, подпирая подволок, хотя понимал, что круг сегодняшних дел начинает убыстряться: лесовоз «Семжалес» уже лежал в дрейфе у входа в залив, и атомоход, слышно, уже повторил заявку на девиационные работы (был в этом и тот плюс, что отпадала нужда бежать в лекторскую группу), но если и дальше так пойдет, то он, Тебеньков, вряд ли будет завтра дежурить в добровольной дружине (а это — хо! — трое дополнительных суток отпуска).

— А что, мастер, — сказал, наконец, Тебеньков, чтобы хоть как-то заполнить время да заодно и охладить капитана, — экипаж у вас — малайцы?

— Chinese! Chinese! Chinese! — с неугасающей патетикой ответил тот.

— Китайцы? А какие китайцы — континентальные или островные?

Капитан «Фаэтоноса» споткнулся на бегу:

— Что? Не понимаю!

— Ну, с Тайваня или красные?

— О поркка мадонна! Неужели вы не видите, пайлот, что они все желтые?! — на немислимом уже этаже фортиссимо ответил почтенный капитан.

«Хо, — подумал Тебеньков, — на таком форсаже кэп долго не протянет, несмотря на весь его итальянский темперамент...»

И тут — под восторженные клики — люковые крышки с грохотом повалились на свои места, усатый старпом, приотворив дверь во внутренние помещения, хлопнул в ладоши, на мостик тотчас явился смуглый стюард в суконной албанской шапочке, с пучком чашек и традиционным кофейником в руках, а вслед за ним появился на мостике запыхавшийся бойкоглазый и румянощекий исполняющий обязанности старшего лоцмана Славка Подосиновичков и заявил:

— Прости, Гаврилыч, тебя «Комета» ждет, на выход. Там трескоед криком кричит!.. И атомоход потом неопыт-

ному не доверишь. А я уж, так и быть, на лоцботе поторчу, к вечеру «Леди Зэт» должна появиться. Не обижайся, Гаврилыч, да?

«Не Подосиновичов ты, Слава, а Подосвиновичов! С твоею прытью в трех местах зарплату получать. Зачем же меня на подвахту выдергивать было?» — заметил сам себе Тебеньков, однако вслух сказал достаточно мудро:

— Я, Слава, сегодняшний день наперед постиг. Потому как видение мне, будто святому, было... Мастер, прошу извинить меня, у меня другая работа...

— О мон дью! — завопил капитан «Фаэтоноса». — Почему? Я уже привык к вам, пайлот!

Тебеньков только развел руками и отправился к причалам морвокзала на «Комету»: что поделать, любил по молодости Славка Подосиновичов иностранцев, хлебом не корми, дай ему на греча попасть!

«И что это за жизнь такая? — размышлял Тебеньков, с трудом втиснувшись на приступок за капитанским креслом «Кометы», глядя, как проносятся вдоль заплаканных стекол начинающие зеленеть берега. — И что это за жизнь такая? Помню я за последнее время хоть бы день, когда никуда спешить не надо было? Хо! Не было такого дня! Плавал пока — такое вроде бы случалось. Там, если и спешить, так вместе с пароходом. А это все равно что движение Земли: разве заметно, как летит она вокруг Солнца, а с ним вместе — черт знает куда? Двадцатый век, называется! Чего же мы тогда в двадцать первом веке делать заведем?»

Он вывернулся назад. («Ты мне, Гаврилыч, «Комету» не развали!» — заметил при этом капитан.) За кормой, за коротенькими дымовыми трубами, за дюралевым плавником, летела и горбилась гора пены, кружевами разлеталась по заливу, дробилась на красивые даже в дождь пузыри, и две дорожки от винтов «Кометы» лежали на воде, как инверсионный след самолета в небе.

«А вот тебе и образ жизни, Гаврило! — сказал сам себе Тебеньков. — Мощь, стремление, пена и пузыри!» («Но и пена есть выражение сущности!» — отметил в «Философских тетрадах» Ленин. Однако Тебеньков, к сожалению, этого не читал.)

— Ты-ч, Гаврилыч, там вздыхаешь? — спросил капитан «Кометы». — Ты глянь на подопечного и присвистни.

Тебеньков глянул вперед и действительно присвистнул:

«Семжалес» лежал на левом борту, и караван леса на нем свисал набок наподобие петушиного гребня — как еще вовсе за борт не ушел! Понятное дело, почему криком кричат...

Когда он подошел к лесовозу на лоцманском боте, он увидел, что штормтрап намного не достаает даже до леерных стоек, и моряки сверху, с каравана, кричали, что дальше трап потравить не могут. Пришлось подтягиваться на руках, пока коленка не поймала нижней ступеньки-выбленки. Дальше, на трех привычных еще со времен курсанта́нской парусной практики точках, стало легче.

Однако наверху, держась за накрененную стойку, Тебеньков сказал:

— Не те годы, чтоб акробатикой заниматься и технику безопасности нарушать! А если б пониже ростом был? Вы что, под надстройку не могли его привязать?

— А там кормовой подзор близко, — виновато ответил вахтенный штурман.

Стоять на разваливающемся караване было неприятно (с первого взгляда определилось, что его, вдобавок к портовым креплениям, аврально стягивали еще швартовными тросами, такелажными талрепами и цепями — в общем, всем, что под рукой в море оказалось), — можно понять, каково этим ребятам в море было.

— С первым караваном пришли, с первых барж в Игарке лес первыми же брали, — рассказывал по дороге на мостик штурман.

— В метель грузились?

— Факт. Даже заморозок прихватил. А мастер спешил план делать. И порт назначения хороший был — Антверпен.

— А теперь? — спросил Тебеньков, косясь, однако, с некоторым неодобрением на словоохотливого штурмана.

— В Карских Воротах на Египет, на Александрию, переадресовали. А там — на внешнем рейде пару месяцев прокукуешь, факт. И план плакал, и Европа. Мастер так и ругается: Епи-пет!

Все понятно. Спешил, значит, капитан, обмерзлые балансы брал, а в Баренцевом потеплело, ледок растаял, груз порыхлел — и поплыло.

— Ветра что, много было?

— Так три дня такой с норд-веста! — обрадованно подтвердил штурман. — Крепеж каждый день обтягивали...

— ...Одна просьба, пайлот, — сказал Тебенькову, здороваясь, серый на лицо (то ли смертельно усталый, то ли язвенник), со впавшими щеками, капитан, — одна просьба: резких поворотов не делать...

— Хо, какие вопросы! Давайте для начала маленький вперед!

— Место у причала я просил, с краном, под перегрузку... — садясь в кресло и как бы угасая, продолжил капитан.

— Значит, будет и место...

— Как там капитан порта настроен? — еще тише спросил капитан.

— Как всегда, делово настроен...

— И нотариа... — начал капитан и не закончил: он уже спал — незаметно для рулевого, стоящего позади, спал, сидя в кресле прямо, и голову держа прямо, и руки легко держа на подлокотниках, — со спины ни за что нельзя подумать было бы, что человек спит. Тебеньков и сам так умел, когда был капитаном (обычно минут пяти хватает, чтобы снова стать как штык или — как огурец!).

«...В общем, думает сейчас (не исключено, что и во сне) мастер о заявлении морского протеста в нотариальной конторе, чтоб возможные убытки по грузу не отнесены были ни на счет судна, ни на счет судовладельца, хотя как божий день ясно: перегрузка будет немалых денег стоить плюс простой судна в Мурманске, хотя — и это тоже из практики ясно — торчать «Семжалесу» без толку на рейде Александрии, в роскошной средиземноморской воде, до обрастания днища (темпы разгрузки там еще те! — разве что у нас в Дудинке мешки с мукой медленнее выгружаются)».

«Семжалес», называется! Где же это леспромхоз там нашли, у этой милой полузабытой морошково-семужной деревушки Семжи, где раньше, помнится, лóцмана брали на портопункт Мезень, когда ходили из Архангельска снабженцем по Летнему, Зимнему, Абрамовскому, Конушинскому и прочим берегам Беломорья. Юные лета, юные (и не совсем) девы, жадные до встреч (и — меньше — до денег)! Здоровья было, как грязи на архангельских и беломорских улицах, и ноздри сами раздувались на запахи жизни. Чего и говорить, тогда и море пахло не то что нынче!

На штилевой воде за мысом Пинагорий, у входа в южное колено залива, увидел Тебеньков вообще-то неудивительную, но все же таки неожиданную картину, поглазеть на которую бросился весь находившийся на мостике комсостав «Семжалеса», отчего лесовоз еще более накренился: греческий рудовоз «Фаэтонос» испытывал носом прочность Кольской земли, и машина при этом у него работала вперед, на берег, хотя буксир, ошвартованный у борта, и буксир за его кормой молотили в обратную сторону так, что буруны хлестали по черной от мазута береговой черте.

«Зря горячку порют, — подумал Тебеньков, — надо ждать полного прилива — сам слезет. Впрочем, кэп — вулкан Стромболи, и Славка Подосиновиков — живчик, и буксиры за работу сполна получают, все верно».

— ...Все, что движется, должно когда-то сталкиваться. Все, что горит, должно когда-то гореть. А все, что плавает на воде, должно когда-то оказываться на суше, — стоически произнес оживший капитан «Семжалеса». — Как, пайлот?

— Я этого чумного грека должен был в море вести, да вот на вас срочно перекинули...

— Значит, фортуна такова, — все так же фатально ответил капитан. Стало понятно, что он готовит себя к предстоящим испытаниям. В море ему было легче: там надо было держаться и командовать, а тут придется как-то отвечать.

Тебеньков нашел на рации канал буксиров, вызвал «Фаэтонос»:

— Чего там у вас стряслось, Слава?

— Да понимаешь, руль у них заклинило право на борту, и машина вовремя не отработала. Зря я согласился с тобой поменяться, Гаврилыч!

— Хо! А я-то при чем?

— Как! Как при чем? Ты же должен был идти на нем, а не я!..

— М-да... Спасательный контракт уже небось подписали? Ты подожди-ка, Слава, водичку часик-другой, может, тогда и снимешься...

— Легко смеяться, Гаврилыч! Зря я согласился!.. — Подосиновиков понизил голос. — А ждать не могу, Сверкун на борту командует...

— Буксиры надрываются, а ваша машина вперед работает?

— Так паровик же, вакуум держать надо. А?! Как вперед? Давно полный назад команда была!

Подосиновичов замолк, а кто-то из буксировщиков проворчал, впрочем вполне удовлетворенно:

— Во-во, тут потеешь...

Прежде чем окончательно уложить лесовоз курсом на юг, Тебеньков минуту поразмышлял о том, что назначение заместителя капитана порта Сверкалова шефом спасательных работ было исключительно удачным: Б. Б. (Буки Букиевич) Сверкалов был (вообще в жизни) большой философ, любил четкую, как меню-раскладка, организацию службы и не любил дергаться по пустякам (отчего презирал бокс, футбол и судоводительскую работу). Уж он-то хладнокровною рукой водворит на мостике суматошного «Фаэтоноса» порядок и непременно и без излишних дискуссий и повреждений снимет «Фаэтонос» с берега (заодно он с удовольствием снял бы с должности парочку лоцманов). Так что Славке Подосиновичову есть почему пускаться на подлог, и притом столь явно...

...«Семжулес» поставили к причалу без единого толчка, так что растроганный и окончательно оживший капитан, подписав квитанцию, предложил Тебенькову пропустить пару рюмашек («Красноярский сучок, но на собственной рябине», — сказал он, извиняясь) и выставил на стол щербатую тарелку с кусочком копченого муксуна и рюмочку.

— Сами понимаете, пайлот, мне сейчас не до... — помявшись, снова извинился капитан, и Тебеньков действовать отказался:

— Мастер, я же не дворник с бляхой к вам на пасху! Вы бы мне еще рупь серебром...

Капитан покраснел и полез в посудный шкафчик, но Тебеньков застопорил его:

— Да будет, мастер, хлопотать! Счастливо вам перегрузиться. И рябину на сучке поберегите для ускорения технического прогресса. До встречи!

...В накуренной лоцманской шли дебаты по поводу посадки «Фаэтоноса». Одна из чьих-то ручных радиостанций «Причал» (во всем мире радиостанции этого типа зовут

жаргонно walky-talky — «слушай-болтай») работала на дежурном приеме, лоцмана комментировали ее скудные сообщения и никто не повернул головы к Тебенькову, и сам он постарался внимания не привлекать во избежание лишних расспросов, почему не он лично оказался на «Фаэтоносе». («И откуда столько пилотов вдруг взялось? — спросил он сам себя, открывая журнал регистрации квитанций за лоцманскую проводку. — Хотя — техническая учеба. Нарочно не придумаешь».)

В журнале желтел сложенный вчетверо листок, адресованный ему, Тебенькову:

«Уважаемый Гавриил Гаврилович!

Удивлена Вашей необязательностью. Где конспект лекции для очередного семинара? Где Вы сами? На будущий квартал предлагаю Вам тему: «Опыт работы с личными творческими планами и их влияние на производственную активность». Позвоните или лучше зайдите.

Ваша Е. Панова»

Да, многоуважаемая Евгения Николаевна привыкла подписываться именно так. А поскольку Тебеньков был наставником и одним из активистов курируемой Евгенией Николаевной школы передового опыта, он частенько получал такого рода любовные записки, вызывавшие многозначительные покашливания лоцманов и совершенно ненужную озабоченность у самого Тебенькова: как бы послание с такой подписью ненароком не попало домой; теще (традиционно) не объяснишь.

Тебеньков вложил листок в записную книжку, чтобы потом не забыть тему семинара, потому что дежурный капитан портнадзора молча тянул уже его за рукав на выход: буксир, буксир давно ждет!

На буксире, по дороге на атомоход, Тебеньков вдруг почувствовал, что сегодня слишком рано устал, и догадался — почему: сон ему с Ромкой не дали досмотреть, с Ромкой, с акациями, с далеко мелькающим озером, с соседкою Грушей и пегим быком — вообще с отдыхом, с отпуском, с родиной жены — вольным демилитаризованным городом Каргополь, как его называл Тебеньков, когда позволял себе вздыхать об отпуске (преимущественно за круглым столом).

— Расслабился, Гаврило! — сказал себе Тебеньков. —

Конечно, отпуск с Ромкою — это вещь, но ведь до него еще доработать надо, минимум полсотни квитанций!

При сем он представил себе своего первого и пока единственного внука Ромку, круглого, как бублик, которые он, кстати, так любил, что называл не иначе как «люб-лик»... Несколько сильных счастьяев познал в жизни Гаврила Тебеньков — и последнее из них, когда внука заимел в сорок два года. Но между тем именно внук дал понять Тебенькову, что самая, казалось бы, длинная жизнь вероятно коротка: и глазом не моргнул, душа еще вовсю в лапту играет, а половину жизни уже наверняка прожил.

Подтянутый и даже, можно сказать, принаряженный вахтенный штурман на атомоходе посмотрел на Тебенькова растерянно, замотанный предотходной суетой капитан (с которым Тебеньков штурманил в свое время) — вовсе недоуменно, и тогда Тебеньков приступил к вопросам и распоряжениям по швартовке, чтобы стереть с лица навеянную мыслями о Ромке философическую паутину, и прежде всего, по старой дружбе, попросил капитана убрать с мостика лишний народ: его всегда смущало обилие людей на мостике атомоходов, одних судоводителей набиралось человек до пяти (лоцмана, естественно, не считая).

Тут вышел на связь «Фазтонос», и Буки Букиевич Сверкалов приказал атомоходу не трогаться с места, пока грек не сойдет с мели.

— Я не могу терять время, у меня восточный сектор Арктики трещит! — ответил капитан. — Мы вниз, к порту, разворачиваться отойдем.

— А я не могу терять воду, уверенность в безопасности и взаимопонимание с иностранной клиентурой. Стойте!

Кое-что официально здоровое в словах Сверкалова было, и, таким образом, Тебеньков получил возможность полчаса погулять по огромному, светлому, как Кремлевский Дворец съездов, мостику атомохода, пока капитан говорил с разными службами пароходства, пока штурмана лихорадочно дописывали последние отчеты для берега и пока, наконец, «Фазтонос», густо задымив и качнувшись, не пополз от берега прочь.

Пришлось и Тебенькову заторопиться (чего он на нюх не терпел), и, хотя процедура отвязывания атомохода была уже выполнена на две трети, отошли и развернулись на север не сразу (в заливе — это не во льду работать!), под-

хлестываемые нетерпеливыми требованиями пароходства. В восточном секторе Арктики назревала сложная обстановка, и ясно было, что дальневосточникам без атомохода не обойтись.

Сами девиационные работы (то есть определение погрешностей в показаниях компасов и радиопеленгаторов) были для лоцмана, да и судоводителей — тоже, делом достаточно скучным, рейд — достаточно просторен, погода — достаточно спокойна, и Тебеньков еще раз крепко помянул Славку Подосиновича, умело подсунувшего ему эту нудную работенку, от которой неудержимо тянуло в сон, несмотря на три чашки крепчайшего чая.

К вечеру вдруг резко похолодало, залив задымился, и это внесло кое-какое разнообразие и даже некоторое напряжение (для души), так что, обнявшись на прощание с капитаном атомохода, Тебеньков снова почувствовал себя готовым к новым трудовым свершениям. И они не заставили себя ждать.

4

«Леди Зэт» оказалась небольшим датским рефрижераторным теплоходиком и появилась из тумана точно посредине залива, на ведущих створах.

Кроме того, «Леди Зэт» оказалась еще и весьма веселым теплоходиком; по крайней мере, в распахнутых дверях нескольких кают Тебеньков, поднимаясь на мостик, увидел цветные фотографии голеньких дам, замысловато трубящих о радостях жизни, и он тут же решил, что на этом судне не только не притронется ни к еде, ни к питью, но даже не будет братья за перила трапов и навигационные приборы.

Приборов на «Леди Зэт» имелось не так уж много, даже авторулевой действовал всего лишь от магнитного компаса, но зато в уголке светились цифры на экране «Магнавокса» — спутниковой системы навигации.

Тут же выяснилось, что капитан и совладелец судна (так он отрекомендовался, пожимая пятерню Тебенькова горячими ручками) с типично датской фамилией Енсен, розово-белесый, пышущий здоровьем, — незаурядный навигатор. Широко улыбаясь, он сообщил Тебенькову, что близ полуночи, у полуострова Рыбачий, у него вышел из строя радар и поэтому он входил в залив, ориентируясь по «Маг-

навоксу» и по мутной ветви Гольфстрима, которая строго по меридиану идет в залив (именно так понял Тебеньков английскую речь датчанина), и что именно благодаря таким методам навигации «Леди Зэт» оказалась точно на ведущих створах. Все так же широко улыбаясь, Енсен в заключение осведомился, какие правила действуют в Мурманском порту относительно загрязнения окружающей среды:

— У вас тоже, как в Сингапуре, капитанов сажают в тюрьму за пятно нефти диаметром более тридцати футов?

Тебеньков ничего не ответил жизнерадостному датчанину, хотя подмывало спросить, действительно ли их королева снималась в эротическом фильме в целях пропаганды сексуальной революции в собственной стране. Пришлось ограничиться добросовестным изложением Енсену правил Мурманского морского торгового порта («в порту правила действуют...» — подумав при том про себя).

Таким образом «взаимопонимание с иностранной клиентурой» было налажено, и «Леди Зэт» бодренько побежала на юг, к Мурманску, тем паче помощник Енсена, угрюмый детина ростом едва ли не с самого Тебенькова, доложил, что радар удалось наладить. Надо же — кстати!

Весельчак Енсен без умолку болтал о последних новостях Европы (Бинг Бангли развелся и развалил свою группу, теперь ему не выплыть... Перспективы группового секса в странах общего рынка... Возрождается спрос на парики... Бывшие волосатики образумились...).

Тебеньков слушал его, едва успевая уразумевать, о чем речь, а Енсен болтал и болтал, пока не показалась впереди громада атомного крейсера, окутанная понизу пеной и туманом. Енсен замолк, отошел поближе к окну, выдувая меж тем губами какой-то ритмовый мотивчик, и долго стоял, глядя на приближающийся корабль, пока Тебеньков не окликнул его, чтобы он перевел авторулевой на новый курс, поскольку подходили к точке поворота, а детина-помощник с мостика исчез.

Плавающая скала слилась позади с берегами и морем, отбойная волна от нее ощутимо стукнула в скулу и прокатилась по борту «Леди Зэт», и Енсен сказал, снова широко улыбаясь:

— Хорошая игрушка!.. Я надеюсь, пайлот, меня поставят к причалу без промедления? На борту — баранина.

Как видите, и мы помогаем вам!..

— Хо, совершенно бескорыстно, абсолютно безвозмездно и уж совсем невыгодно для себя... Вы ведь ничего не имеете на этом?

— Ах, пайлот, конечно, я частный предприниматель, хотя и моряк. Вы давно были в Северном море? Чертовски много нефтяных вышек, невозможно плавать! У вас тоже скоро так будет, я слышал? А что пайлот думает о проблеме цветных «гастарбайтеров» и вообще о разжижении Европы цветными? USSR не имеет такой проблемы? Как! Тогда, может быть, по глотку «Белой лошади» за отсутствие проблем? Как! А кофе? А кофе с лучшим в мире — не спорьте! — датским молоком?! Вы меня просто обижаете, пайлот!..

Тебеньков, проклиная себя за уступчивость, все же сумел отказаться от виски и кофе, однако консервированного (а словно бы совершенно свежего) датского молока выпил, и даже две банки, протерев их предварительно носовым платком.

Енсен, как и полагается, развел виски содовой, отпил глоток, поставил стакан и снова широко улыбнулся. Радость клокотала в нем.

Что думает пайлот об этих маршах мира? Он, Енсен, только что видел один из них, скандинавский. Чудовищно! «Першинги» — да, «першинги» — нет! Где эти люди находят время? Очевидно, все они — бездельники. Мир — это бизнес, но бизнес — это наличие времени для него. Ага, он, Енсен, догадывается: марши — это шоу, это политическая реклама. Неплохо, неплохо. Так как же понимает пайлот проблемы мира?

— У меня родители погибли в прошлую войну, и меня вырастило наше государство, — ответил Тебеньков, отходя от Енсена к локатору, хотя, в общем-то, нужды в том не было: туман поднимался, открывая берега, и помощник Енсена вел прокладку, скрупулезно отмечая позицию «Леди Зэт» на карте.

— О, тогда с вами бесполезно говорить, пайлот! — расхохотался Енсен. — Простите... Кажется, я перешел черту дозволенного...

Тебеньков пожал плечами: обычно разговоры на мостике ограничивались новостями навигации, морскими — по большей части — анекдотами или информацией о погрузке-разгрузке и наличии развлечений в порту. Весельчаку

Енсену хотелось чего-то большего. Что же — да здравствует датское (лучшее в мире!) молоко!

5

Домой Тебеньков добрался только утром, хотя проблем с «Леди Зэт» не возникло: еще на подходе к причалу они увидели тепловоз, подававший на подкрановые пути тройку рефрижераторных вагонов, так что частный предприниматель Енсен, потирая ручки, сказал: «Вери велл». Опять же как частный предприниматель он предложил Тебенькову не брать буксира для швартовки (излишние расходы!) и уже как моряк полностью был швартовкой, произведенной Тебеньковым, удовлетворен. (А чего, спрашивается, не швартоваться без буксира, если «Леди Зэт» имела хотя и не очень сильное, но вполне для ее тоннажа приличное носовое подруливающее устройство?)

Снова речь зашла о рюмке «Белой лошади», но Тебеньков, на некоторое удивление и самому себе, был тверд, и тогда, прощаясь в каюте, словно бы раздосадованный, Енсен вытащил из холодильника и с грохотом выставил на стол перед Тебеньковым дюжину разноцветных банок с консервированным (тоже — лучшим в мире?) датским пивом и консервированным — на выбор — молоком.

Тебеньков чокнулся с Енсенем банкою молока, сунул ее в карман плаща и откланялся, надо полагать, оставив гостеприимного Енсена в большом недоумении относительно сугубо специфических (морских) качеств мурманских лоцманов...

Работы для подвахты в принципе больше не было, разве что зарегистрировать квитанцию на лоцманские сборы, однако там, где давеча желтел листок от Евгении Николаевны Пановой, лежал теперь голубенький бланк служебного распоряжения, и Тебеньков узнал твердый почерк Буки Букиевича Сверкалова:

«Г. Г.!» (Такая у Сверкалова была манера обращения.)

К началу рабочего дня я должен иметь от Вас объяснительную записку по «Фазтоносу», т. к. капитан имеет претензии к лоцманам.

(Подпись отсутствовала.)

Тебеньков чертыхнулся, сел за стол, достал бумагу и добросовестно, будто составляя лоцию, описал обстановку на мостике грека, как он, Тебеньков, ее реально наблю-

дал. Затем ему стало жаль экспрессивного фазтоновского капитана, и он спрятал исписанные листки за обертку регистрационного журнала и на обороте сверкаловского бланка написал:

«Не успел на «Фазтоносе» отдать ни одной команды, т. к. по распоряжению и.о.с.л. Подосиновичова В. В. убыл на «Комету».

Г. Г.»

Пока он пешком, чтоб не толкаться локтями с утренним народом, добирался до дому, жена успела уйти на работу, и дверь открыла теща Раиса Ивановна. В тот же момент, словно бы вызванный тебеньковским звонком, появился на площадке сосед-пенсионер Иван Кириллыч в обычном своем утреннем тренировочном костюме и кроссовках «Адидас». Пожимая ладонь Тебенькова обеими руками, он спросил, строго глядя сквозь очки:

— Как обстановка?

— Приближенная к боевой, но — стоим!

— Добро! — отвечивал Иван Кириллыч и заспешил вниз по лестнице; дужки очков на затылке Ивана Кириллыча действительно стягивала резинка, чего, вообще-то, Тебеньков ранее не замечал.

Дома, посмотрев (на фотографии) в ясные Ромушкины глаза, Тебеньков вдруг устыдился:

— Однако слабак ты, Гаврило! Чего, спрашивается, объяснительную за обложку прятал? Чтоб Сверкалова подразнить? Все равно ведь ее вытаскивать придется, если «Фазтонос» на лоцманов бочку катит. И прежде всего нужно будет Славку Подосиновичова выше всяких подозрений, как жену Цезаря, ставить, ибо лоцмана — товарищи суть!

После чего Тебеньков легонько щелкнул Ромушку по носу, на глазах у изумленной тещи налил себе стакан водки, выпил, закусил куском черного хлеба с венгерским шпигом и сказал:

— Я, Рай Иванна, телефон отключу и спать лягу. Разбудите меня, пожалуйста, в четыре часа, мне еще поллучку получить и на ДНД надо...

Диван шарахнулся под ним, как конь под Тарасом Бульбой, и, уже засыпая, Тебеньков услышал выговаривание старых настенных часов:

— Вот так! Вот так. Вот так. Вот так...

ЧТО НУЖНО МУЖЧИНЕ

— Сила. И любовь женщины, — сказал Толик Лавренюк. — Да, любовь женщины и сила. А что же еще?

Он жестко раздавил сигарету в пепельнице, еще не набитой доверху окурками, и непринужденно поднялся:

— Вася, можно, мы станцуем на радостях? А? Прошу вас, Любочка!

Он повел ее в круг, бережно идя сбоку и чуть сзади и придерживая за локоток.

Вася Шурухин, улыбаясь, смотрел им вслед. Любаша шла, оглядываясь, тоже улыбаясь, и ее бежевое платье светилось в сером воздухе зала.

Вася поймал Любин взгляд, взял фужер, поднял его над столом, потом, прищурясь, стал смотреть на них с Толиком через тонкие хрустальные стенки.

На стенках бегали блики от потолочных ламп, светилось Любашино платье, светилась Любашина улыбка, когда она взглядывала на него через высокое и твердое Тольконо плечо.

И вообще музыканты играли неплохо.

Танец кончился, начался другой. Толик помахал рукой, и они с Любашей остались в кругу еще на один раз. Вася опустил фужер, танцующие женщины оглядывались на Толика с Любашей. Но Вася не завидовал Толику; он знал, что Любаша, когда прибежит обратно, скажет, что теперь танцевать будет только с ним, со своим Васей. Это уж точно. Будет танцевать танго и поглаживать его черствые пальцы, осторожно ощупывать края порезов и ссадин. М-да, пальчики не отшлифуешь, хоть год пемзой работай.

Вася разрезал ногтем кожуру апельсина, стал чистить его. Когда Любаша вернулась на место, апельсин в звездчатых лепестках оранжевой кожуры уже теплел на ее тарелке.

— Ну, Васек, ты успехи делаешь. Когда это ты так настропалился? — спросил Толик, кивая на апельсин. — Силен, рыбак!

Любаша засмеялась:

— Дед Серега его тоже так зовет, никогда по имени не кличет. — Потом она наклонилась к Васе: — Знаешь, я теперь только с тобой танцевать буду. Давай, Васенька, да?

Вася пожал под скатертью ее руку.

— Только ты закусывай лучше, Вася.

Толик уже наливал:

— Ну, еще по одной, компаньерос. С возвращением тебя, Васек!

— Сколько же можно за возвращение? Я уж сколько тут!

— Третий день, — ответила Люба, — навалом... И чего это ты сегодня такой странный?

— Ты чего, своего мужика не знаешь?

— Да ладно вам. Выпили, что ли? Будь, Люба!

Любаша пила мелкими глотками, как зверек. Волосы вздрагивали у открытой шеи. Ну, а Толик всегда пил — в один хлебок.

Тепло разливалось по телу, и блаженная тяжесть вдавливалась в стул. Сиди, рыбак, ноги вытяни поудобнее, закури с другом, смотри на свою женщину, как она пьет мелкими глотками, запрокидывает голову, шея ее белеет, волосы вздрагивают. Пьет, а сама хитро-хитро смотрит уголком глаза из-под раскосых ресниц. Толково быть на берегу, а?

Вася вытянул ноги, а руки, расслабив, положил на край стола. Но разве не лучше было бы сейчас дома, в какой-нибудь этакой теплой и светлой комнате, вдвоем, и сидеть не через стол, а рядом?.. Разве не об этом думается там, на скользкой от рыбьих внутренностей, соли, чешуи и льда палубе?

И когда не ладится с тралом, когда он выходит наверх с порывами и нужно срывать жесткий и без мороза трос и латать полотно, сколько раз в сердцах, вперемежку с матом, скажешь сам себе: «А ну к едрене-фене и деньги, и всю эту романтику! Есть же где-то люди, что живут по-людски, тепло, светло и рядом с бабой! Нет, хватит!»

Мысли в это время бывают хриплыми, как простуженный голос. А потом начинается все сначала, привычка, что тут поделаешь!

— ...Васенька, ты что? Пойдем же в залу, на круг, а?
...Вася передвигал ноги в такт музыке, усмехался, вспоминая, как учила его Любаша танцевать, когда они познакомились. Приятно было чувствовать ее спину под рукой и грудь совсем рядом.

— Любок, знаешь скоро жить как будем?! Ты тогда от сына не отвертись, это я тебе точно говорю!

— Что ты, Васенька, у нас ведь нет ничего, даже штампа в паспорте...

— Все будет, Любок!

— Нет, ты пока и не вздумай, на ноги еще не стали! — у Любаши даже глаза стали испуганными, и она уткнулась лбом в его жесткую щеку.

— Эк, злючка! Скучно без меня было?

— А ты думаешь?.. — она потерлась лбом о его щеку. — Ой, извини, Васенька, я нечаянно, пальцы от апельсина липкие. Не больно?

— Руке, что ли? Да я и не заметил.

Любаша погрузилась. Ей близко видна была его красноватая, натертая свитером шея, и белый — тоже жесткий — воротник новой рубашки, и непробритые второпях волоски под скулой. Васенька, Васька, рыбаки...

Музыка кончилась, они вернулись к столу. Толик, прямой и бледный, поднялся, подвинул Любаше стул, подождал, когда она усядется, потом сказал, щурясь и неторопливо растягивая слова:

— Смотрел на вас. Крепачок ты, Васька. Настоящий мужик, корень земли. Тебя во время танго с ног не сшибешь, цепко ходишь.

— Понесло тебя...

— Чего там! У тебя все есть, что нужно мужчине. Я вот жалею, что плавать бросил, сам чувствую, не тем становлюсь...

— Скоро большим человеком будешь, чего жалеть?

— Помнишь, как мы тогда с «Лермонтова» в отпуск шли? Вот это была пыль! А теперь? Культурным становлюсь, — Толик хохотнул. — Эх, да что там говорить, давайте лучше выпьем... За тех, кто в море!

— Не ной, Толька, раз у тебя к другому делу талант. Кто тебе жить по душе мешает? Сам же говорил: из двух зайцев выбирают того, который жирней.

— Ладно, уговорил. Все. Что это мы такие пасмурные? Итак, я пью. Ну, Любочка-голубочка, подари улыбочку!

Толик Лавренюк подмигнул, пить стал не залпом, а медленно. У Любаши тяжело и тревожно потемнели глаза, и Вася, чувствуя, что краснеет, усмехнулся:

— Ладно, как ты говоришь. За тех, кто на берегу!

— Васенька, не пей, закуси, Васенька, — торопливо зашептала Люба, — не пей, а?

— Я не окосею, мне нельзя сегодня, Любок. Я кэпу завтра с утра обещал тралы наладить.

— Ну, Васек, опять про тралы... В море места стало мало, всюду тралы, тралы, тралы... — Толик засмеялся. — Эх, влюбленные-зеленые! Пойду-ка я кого-нибудь пригляшу.

Толик огляделся.

— Некого... Дела... Ну чего же вы сидите, дружки-подружки? Слушай, можно, я с Любой еще разок станцую, а, Васек?

Любаша гладила под столом Васину коленку, и он почувствовал, как на секунду дрогнула ее рука. Потом Любаша требовательно затрясла его ногу, и Вася сказал:

— Посидим так.

Прошедший рейс, все сто тридцать пять суток, наваливался на него множеством воспоминаний, отрывков, вспыхивавших так, что вдруг зарябило в глазах. Там были и фиолетовые в осеннем свете айсберги, и Валька Кудрявцев с посиневшим лицом, держащий в руке два окровавленных, оторванных лебедкой пальца другой руки, и красивый, осененный усиками, рот старшего штурмана, искаженный бешеной руганью, и густой алый бархат переходящего Знамени в матросской столовой, и светлая полоса конвейера рыбоподачи, ледяные блестящие капли, сползающие по шлемам матросов, холодный, надоевший блеск рыбы, и кровь, выступающая на ободранных ладонях, и сизый дизельный дым над трубой с золотым серпом и молотом, — там было все, кроме вот этих теплых женских пальчиков, вцепившихся в его колено...

«...Вцепилась, будто боится, дурочка, что потеряюсь. Никуда я от нее не денусь... Многие пьют на берегу даже дома, потому что не верят, что жены выдерживают разлуку в три месяца, в полгода. Да и где там! Тяжело, понятно. Год. Несколько лет... Но у многих — целая жизнь...»

Любаша отпустила Васину коленку.

— Чего киснем! Васенька, мы станцуем, а?

— Валяйте.

Толик медлил подниматься со стула, неуверенно стараясь увидеть Васины прикрытые глаза.

— Ну и кавалеры! Что мне, за другими столами искать, что ли?

Обида зазвучала в ее голосе, но Вася глаз не поднял.

— Пойдем, Толя, а то он что-то совсем замлел. Не скучай, Васек!

Вася опять смотрел, как они шли в круг. Толик снова бережно взял ее за локоток, и походка у него была до странности трезвая.

Оркестр шпарил чересчур громко, а голос у певца был какой-то очень уж блатной. Любашино раскрасневшееся лицо мелькало в толпе. «А что, наверное, многие из тех, кто в зале, работают на берегу и зарабатывают не худо, вот — в рестораны ходят и живут по-людски...»

— Девушка, давайте расплатимся.

— Что так рано?

— На катер опоздать боюсь.

— Ну катер не свадьба, не страшно. К свадьбе не опоздайте!

— Попробую.

— Может, еще посидите?

— Нет, сейчас уходим, — ответил Вася и стал подзывать Любашу с Толиком...

Вышли из ресторана они, однако, со всеми вместе, когда тот уже закрывался. Васю все же чуть покачивало, но он был серьезный. Он долго ждал с Любашиным пальто в руках, когда она появится и подойдет к зеркалу. Толик убежал за такси. В вестибюле было шумно. Среди уходящей публики женщин было мало, но смеялись они громко, и если закрыть глаза, то выходило, что их тоже вполне достаточно.

— Не спи, коряга, — услышал Вася, — пальтишко свистнут. Не спи.

Он открыл глаза:

— Ладно, двигайте, ребята, отсюда, а я как-нибудь перебыюсь.

Ребята были здорово под хмельком. У всех троих полуженские аккуратные волосики, галстучки тоненькие, куртишки по моде. Цивильные такие ребята.

Один из них низко склонился перед появившейся Любашей:

— Прошу вас, мадам! Ваше пальто бережено нами целым и невредимым. Нами, мадам, нами! Ваш хахаль спал.

— Брось, Позвонок, отстань, это же рыбак, — сказал другой, и они отошли.

Любаша зябко передергивала плечиками, надевая пальто. Волосы ее были в порядке, губы чуть подкрашены, и только на шее темнели красные пятна.

— Васенька, не отходи от меня. Пьяные все. И не задирайся, ладно, а?

— Когда это я задирался? Пойдем, Любок.

— Да, пошли быстрее, а то на последний катер опоздаем, все не как у людей. Все сейчас по домам, а нам с тобой сколько еще добираться, понесла же нас нелегкая сюда, — бормотала она в пушистый воротник пальто, уцепившись за Васин рукав. — Черт побрал бы всё и эти Три Ручья тоже!

Улица встретила морозцем, чистым пронзительным воздухом и редкими снежинками, падавшими на мерзлую звенящую землю.

— Эх и деваху повели, глянь, какие ножки культурные! — с пьяной завистью сказал кто-то сзади.

Вася обернулся, и что-то порвалось в нем. Тогдашние парни стояли наверху, на ступеньках, и Позвонок покачивался с пяток на носки и кривил губы, держа руки в карманах куртки.

— Васенька, не надо, Васенька, это же...

— Как это не надо! Они же про тебя! — Вася Шурухин отцепил ее руку и побежал назад. Бежать до лестницы было всего несколько шагов, но Вася поскользнулся на комке мерзлой земли у газона и упал, чувствуя, как что-то хрустнуло в коленке.

Парни наверху захохотали, а Любаша, закричав, нагнулась к нему, хватая за плечо и пытаясь поднять, поставить на ноги, но Вася не встал. Он перевернулся и сел, полностью приходя в себя от боли в немеющей коленке. На шум собрались люди.

Откуда-то появился Толик Лавренюк.

— Что! Вот черт! Ну-ка поддержи его, Любаша. Стоять можешь, Васек? Да погоди ты, чумной!

Вася пошел было снова ко входу, но боль заставила его

схватиться за тонкий железный фонарный столб.

— Хватит, Вася, навоевался, ну хватит же, ну говорила же! — твердила Любаша, заглядывая ему в лицо и стряхивая с него снег. — Ох, боже мой!

— Кто тебя, этот? — Толик пошел наверх, к парню. Тот стоял уже один. Дружки исчезли.

— Да не трогай ты его, видишь, он и лыка не вяжет, — заметил Толику морской майор.

— Отстань!

Толик Лавренюк взбежал на крылечко и сбил парня с ног.

— Пусть полежит! А теперь, Вася, в сторонку, чтоб шухера не было. Надо такси искать. Ждите тут.

Он усадил Васю на угол фундамента, даже поднял ему воротник пальто.

— Покарауль его, Любочка.

— Чего меня караулить, я уже в норме. Poiщи машину, Толька, может, на последний катер успеем или туда-обратно уговорим. Ходом-ходом, я тут покурю.

Толик удивленно и внимательно посмотрел на него и побежал за угол вниз, к центральной площади.

— Эх, из него энергия прет! Хорошо корешей иметь, а, Любок?

— Энергия прет! Просила же я тебя не пить. Теперь вот ногу сломал. Не надо мне твоих корешей! Тебя ждешь, ждешь, раз в город выйдешь, и что? И до чего же все как-то получается!

Потом, видя, как твердеют и смыкаются его губы, она заговорила тише, но еще надсадней:

— Ты думаешь, мне легко, да? Смену отработаешь, а ночь-в-полночь реви в подушку, а дома и живого-то — только дед Серега прокуренный. Я его кашля на всю жизнь наслушалась!

Любаша всунула руки в рукава пальто, как в муфту, и прислонилась к углу дома.

— Ой, Васенька, пока тебя нет, ни работа не радует, ничего. Расписаться! А когда в город переедем? Три Ручья вот так обрыдли!

— Отодвинься от дома, пальто вымажешь. И давай попробуем без истерик. Замуж — ты сама решишься не можешь. И деда Серегу не тронь, он еще тот мужик.

— Все они у тебя еще те! — Любаша сдвинула на губы край цветного шарфа и отвернулась.

Люди уже разошлись, убавилось фонарей, и на вывеске у входа, потрескивая, слабо светились только четыре буквы «...оран». Подошла толстая сторожиха, остановилась, словно вросла в землю, уставилась на них.

— Не бойся, тетенька, видишь, ногу подвернул.

Сторожиха помолчала, потом неожиданно сочным голосом сказала:

— А я и не боюсь, раз вы с женщиной. Которы одне — тех надо бояться.

— А я-то что, похоже, с женщиной? Это ж не моя она, тетенька.

— Я знаю.

Из-за угла появился запыхавшийся Толик Лавренюк.

— Дело — полный швах, такси нигде нет. Что делать будем?

— Попробуем идти так, — сказал Вася.

— С ума сошел!

— Вы лучше «скорую помощь» вызовите, — вмешалась сторожиха, — она завсегда приедет. А там уж вам ногу вправят и такси вызовут. Тут автомат только монеты глотает, — махнула она рукой в сторону ресторана, — справный возле детсада, на Рыбачьей.

— А что — гранд-идея! Бегу, а?

— Ее-от возьми, — сказала сторожиха, — женщине поверят точно, а то подумают: пьяный куражится.

Но Любаша отрезала:

— Никуда я не пойду, вот и все.

Толик стоял в нерешительности, смотрел поверх Васиной головы.

— Зря. Все-таки женщины-от поверят. Да я вашего друга покараулю заодно, чего уж тут.

— А ты чего, тетя, караулишь?

— Что положено, то и караулю.

— Ну, везет мне сегодня на караульщиков, — вздохнул Вася Шурухин, — вызывайте машину, не торчать же тут. Сходи, Любок, позвони.

Любаша запахла воротник, толчком оторвалась от угла и быстро пошла на Рыбачью улицу, вниз. Пройдя несколько метров, сказала Васе строго:

— Только смотри сиди, нас жди!

Толя Лавренюк побежал за ней.

Вася Шурухин сидел такой бледный, что сторожиха наклонилась к нему. Лицо у нее оказалось неожиданно молодое.

— Здорово болит? Эх вы, мужики! Все шумите, драться лезете, а бесприютные — хуже ночного сторожа! — она засмеялась. — Много вашего брата тут, а после этого, — она кивнула на ресторан, — и голову приклонить некуда. Только шум да пустая трата денег!

Вася молчал и курил.

— Больно, значит? У моего отца, когда так случилось, он знаешь что сделал? Матери сказал: становись на ногу, ногу держи. А сам как повернется — и все на место стало. Вдó мужик был, самому ничего, а у матери аж пот на лбу!

Сторожихе явно было скучно.

— А дружок-от у тебя обходительной. Я видала, как он ей на Октябрьских машину у пьяных отбивал, отбил. Такой обходительной, нахальной, не то что ты. Язык-от от боли проглотил?

— Вообще трепаться не люблю... Ну-ка, будь друг, стань-ка мне на ногу, тетенька, попробую, как твой батя сделал.

— Ой, да вдруг хуже будет!

— Хуже теперь не будет... Держи коленку! — Вася помедлил, соображая, в какую же сторону нужно теперь повернуться. Дернулся, потом еще раз. Коленка вроде бы стала на место, даже боли Вася не успел заметить, потому что перекусил пополам сигарету и табак расползся по языку.

Вася сплюнул:

— Ну вот!.. Что-то ты толстая, а легкая больно, а?

— Это у меня для храбрости одежек понадевано, — ответила она, — я же еще молодая, али не видно?

— Видно. Чего же — в сторожихах?

— Способней так. Ночь дежурю, три дня свободная. Я на кулинара выучиться хочу, а стипендия — мала.

— Ну, давай на кулинара. Спасибо.

— Ты куда? Твои же — сюда придут.

— Скажи, что к ним похромал...

Вася шел все быстрее и быстрее и не заметил, как почти побежал. У детсада Любаши с Толиком не было, а когда он повернул к ресторану, то увидел, как оттуда вниз, к порту, промелькнула над штaketником продолговатая желто

блеснувшая крыша «Волги». Вася посмотрел на часы. М-да, разошлись... И последний катер на Три Ручья отвалит через четыре минуты.

И Вася не торопясь тоже пошел вниз.

Город уже фактически спал. Улицы в темноте струились к заливу между разбросанными по скалам глыбами домов. Окна еще горели кое-где на верхних этажах; наверное, там жили те, кто помоложе. Но и эти окна затухали одно за другим. Странно, что это было видно, даже если не поднимать головы. Где-нибудь должно быть такое окно у каждого человека. А Вася мечтал еще иметь и такое окно, которое было бы видно с залива. Трудно ли спросить у вахтенного штурмана бинокль и глянуть на подходе: как там дела, в этом окне?

Боль в коленке почти прошла, и только оставалось такое ощущение, что сустав работает без смазки, словно бы с потрескиванием и шорохом, и потому приходилось прихрамывать...

Сзади захлопал мотор, и рядом с Васей остановился желто-синий «газик». Со строгой милицейской хрипотцой спросили:

— Далеко ли направляетесь, гражданин?

Вася обернулся.

— А! Старый знакомый! Казенных книжек больше не теряешь?

— Да нет, дядя Ваня, больше не теряю, за библиотеку не берусь. Ногу вот подвернул, двигаю потихоньку.

— Ладно, влезай, раз так. Подвезем его, Санька?

— Куда попадать-то надо? — спросил молоденький милиционер, сидевший за рулем.

— Да мне вообще-то на Три Ручья бы...

— К казнобе, что ли? — удивился старшина.

— Да не то чтоб...

— ...Вроде того...

— Туда сейчас автобус радиоцентровский пойдет, Иван Кондратьич, перехватим? — предложил шофер. — От шоссе до дома дотопаешь?

— Не дотопает, так на спине доедет, там под горку. Они, заочники, народ настырный.

— Какие там заочники, когда круглые сутки за рыбоделом, — ответил Вася, нахлобучивая шапку. — Бросил я это дело, дядя Ваня!

— Выходит, зря я твои книжечки тогда нашел? Давай наперехват, Санька!

И в «газике», и позже, в автобусе. Вася глядел вперед на серую набегающую и похрустывающую ледком дорогу, и ничего кроме этого не видел. В автобусе ребята радиодетские смеялись над своим шофером, который бурчал, что всегда ему из-за них не вовремя вылезать из теплой постели, от жены. А Васе ничего не думалось. Он только вспомнил прошлогодний случай, когда в тумане траулер напарывался на кусок айсберга, плоский такой кусок, его и заметишь-то, если только внимательно и непрерывно наблюдать в локатор. Сергей Степаныч, капитан, дал тогда машине полный ход назад и повернулся к айсбергу спиной: чего же зря волноваться, если ничего уже нельзя сделать? Такое было воспоминание...

У самой Колы, уже на Печенгской дороге, попало навстречу такси с зеленым огоньком, может та же самая «Волга».

Вниз он шел так же медленно, у заборного поворота остановился, закурил и потом уже пошел к калитке.

Окно комнаты выходило на калитку, и Вася сразу увидел его освещенный квадрат. Боковые створки до сих пор были наискось заклеены синей клеенкой, так берёт их дед Серега с самой войны. И в этом окне виден был Любашин знакомый силуэт, уже в теплом свитере с высоким воротом. Резкие широкие плечи Толика Лавренюка затемняли половину окна. Так... Полуотворенная калитка поскрипывала под отяжелевшей рукой. Нужно ли было идти сейчас, если через неделю ему опять в рейс — на три с лишним месяца? Кто же, кроме нее самой, будет защитником тогда, когда он уйдет в море?

Захотелось швырнуть в эти освещенные стекла булыжник, а потом влететь туда, прихватив в руку кол потяжелее, как это делали когда-то у них в деревне. Или лучше молча? Но кто же будет ее защищать, когда он будет в море? Память? Дед Серега? Толик Лавренюк? Сама?..

И Вася Шурухин прочно притворил калитку, повернулся спиной к жилью и пошел вниз, к плавмастерской. Он даже не матерился про себя, а в глазах его стоял синий сигаретный дым их большой прокуренной четырехместной каюты...

Он не приходил несколько дней. Не потому, что боялся посмотреть в лицо Любаше, а просто раз уж она не пришла к нему на судно, так и ему у нее делать нечего.

Он вкалывал, как зверь, а матросы, удивленные его молчаливостью и тем, что он не ходит на берег, тоже молчали, и никто не хихикал за его спиной. А потом, в воскресенье, когда стало ясно с отходом, Вася попросился на берег, и старпом без задержки отпустил его.

С оказией до Трех Ручьев было добраться пара пустяков.

Вася подошел к дому с половины деда Сереги и столкнулся с ним у крыльца. Дед молча поставил у ног помойное ведро, огладил рукой зад в толстых стеганых штанах и прищурился на Васю.

— Прогулеванил Любку, рыбак? Стенки-то тонкие: не трогай меня, кричит, слышу, — он ведь третью ночь тут ночевать пробует... Ты горд, а она тебя гордее!.. Ну ладно, Васюха, засмолим, что ли, по одной, с утра кашлем задыхаюсь. Жаль бабу. Не тебя — бабу жаль! Ты — что? У тебя руки. Бить их будешь? Дома оба.

Вася молчал, затягиваясь зверским дедовским табаком.

— Не будешь? И то правда: пару бить — никого не бить.

Вася растоптал сигарку и сказал:

— Я к тебе с просьбой, дед: вынеси мне нож такелажный, финский, в сенцах слева на полке лежит. Да не бойся. Когда концы ростишь — без него как без рук, а я у старого свайку сломал.

— Эк сказанул! Я и не боюсь. Чего мне бояться, это ты, милоч, бойся, — дед хмыкнул и пошел за угол, на другую половину.

Вася сидел, руки в колени, в дом идти боялся.

Дед вернулся скоро, отдал Васе нож, громыхнул ведром, глянул на Васю. Глаз у деда даже не видно было.

— Отход на носу? Ну, иди-ка ты на тральщик, паря, не пачкай рук. Топай, топай. Заходи табачком побаловаться опосля, чего еще мужику надо?

Вася Шурухин медленно поднялся, посмотрел в зеленую стеганую спину деда Сереги:

— А ну поставь ведро, дед! Подержи-ка нож!..

СИЛЬ ВУ ПЛЕ НА ДЖОРДЖЕС-БАНКУ

В те времена, когда мы с ним работали еще на рейдовых танкерах, я всегда начинал радоваться, когда видел его щеголеватую, собранную фигуру, сутулые боксерские плечи, поблескивающие кожей тужурки, и светлый скандинавский профиль. Фуражки ему шли любые. Что же касается обуви, то лучше было бы при швартовке ободрать ему краску с половины борта, чем наступить на свеженачищенный ботинок.

Его любили. Конечно, для нас он был просто кореш, Вадька Тартюк; сами понимаете, друзья уважают друг в друге недостатки и взаимно прощают друг другу слишком явные, слишком уж положительные качества, на то и дружба.

Итак, пока мы с ним работали вместе, я настолько привык к его целеустремленной фигуре на мостике, что мог бы различить его, пожалуй, за милую, стоило только увидеть его набрякший, погрузившийся по самые якорные клюза танкерок с отчаянно дымящей трубой. Мой стармех Сева Холмогоров всегда осуждающе смотрел на Тартюка, на его сияющие даже в сильный мороз ботинки: Сева давно хотел назвать Вадькину привычку носить яркие ботинки пижонством, но никак не мог выговорить это слово. Стармех стоял на нашем открытом всем ветрам и морозам мостике в капитально подшитых валенках и качал головой; у него у самого была своя привычка, от которой я не мог его отучить: на швартовках и вообще в сложных обстоятельствах он всегда взбирался на мостик, вместо того чтобы лезть в машину. Однако я потом убедился, что он по-своему был прав, так как бегал он в случае надобности очень быстро...

Вадька тогда возил мазут, а я — дизельное топливо, так что мы частенько воссоединялись у борта какой-нибудь

плавбазы, стоящей на срочном отходе, или у борта тральщика, который стоял на еще более срочном отходе, или еще где-нибудь. Воссоединение происходило таким образом: Сева Холмогоров изготавливал традиционную сельдь по-архангельски с луком, заспанный артельщик выделял полбуханки черного хлеба, ну и поскольку ни один самый срочный отход не бывал ранее чем через восемь часов, то находилось время и для чая, а иногда и для доброй четвертинки, но это уже реже.

Хорошие были ночи: морозный пар на заливе, по корпусу слышно, как гудят грузовые насосы, выдавая солярку, а мы себе дуем чай после Севиной селедки!.. Когда же случалась четвертинка, то бывало несколько по-другому: Вадя Тартюк закуривал сигарету, долго качал ногой, глядя на кончик ботинка, и говорил:

— Я позволю себе сказать резюме. Все-таки это не та работа. Нужно подаваться на дальний заплыв. Каким красавцам мазут возим, а сами? Даже Макаров в люди вышел, здороваться перестал. Нет, только будет случай — я ухожу. Ву компроне?

Была у него еще и такая привычка. Я помню, как на вечеринке он подошел к невесте Васи Селиванова и галантно предложил:

— Позвольте ангажировать вас?

Вася Селиванов, стоявший рядом, по простоте душевной побагровел, невеста его тоже застеснялась, ответила невнятно что-то вроде «никс ферштеен», а Вадя, чуть побледнев, так же галантно продолжил:

— Но? Ну что ж, милль пардон, мадемуазель, адьё! — И, едва заметно качнувшись, пошел дальше.

Вася Селиванов потом две недели допытывался у меня, что все это означало, пока я не отпросился на выходные, потому что мы с Васей плавали на одном судне и он имел практически неограниченное время для своих дознаний...

Итак, значит, Вадька Тартюк рассчитывал на случай, который должен был перекинуть его с невысокого мостика рейдового танкера на несколько этажей выше.

Судьба в принципе не возражала против подобного варианта, потому что вскоре предоставила моему другу тот самый случай, на который он рассчитывал.

Было так... Мы стояли среди ночи под бортом у плавбазы и выдавали ей дизельное топливо — короче говоря,

соляр. Залив парил прилично. День до этого прошел суматошный, и на судне все кроме вахты блаженно спали, в том числе и мы со стармехом. А на палубе вахтенным матросом ходил Коля Лепок, хороший парень, но молодой, так что у него изо всех матросских качеств было в наличии в основном одно, причем не самое главное: голос. Его голосу завидовал даже боцман, не говоря о старпеме. Поэтому ночью я мгновенно услышал Колин истошный крик: «Горы-ы-ым!», натянул на себя что под руку попало, света не включая, сунул ноги в валенки, полушубок на плечи — и ходом на мостик. По дороге услышал шлепанье босых ступней от стармеховской каюты, и когда прибежал на мостик, машинный телеграф там требовательно звенел, показывая, что машины готовы дать любой ход.

Оказывается, горела дымовая труба. Это у нас была такая конструкция, что внутри, в трубе, обязательно раз в месяц должна была гореть сажа, которая там скапливалась. Мы со временем приноровились и сами трубу поджигали по графику, чтоб уж потом спать спокойно.

А тогда, пока боцман Колю Лепка за панику на чем свет разносил, огонь почти потушили. Вдруг, слышу, рядом в тумане дизеля урчат и кто-то в электроматюгальник спрашивает, нужна ли помощь и есть ли раненые. Конечно, это был мой корешок, Вадька Тартюк. Сыграл он пожарную тревогу, в сплошном молоке к нам подошел, а я дал отбой тревоги и пошел вниз, потому что почувствовал, как меня слегка стало знобить.

Сева Холмогоров стоял внизу у раскрытой каютной двери, в трусах и нательной рубашке, и бензином оттирал черноту со своих голых подошв.

— Ну как, «дед», борьба с пожаром?

Пока он мне собирался ответить, вошел в коридор Вадька Тартюк, а впереди него одно очень важное лицо. Лицо посмотрело на нас со стармехом и сказало:

— Странно, мы были о вас лучшего мнения!

Стармех окончательно стушевался, а я попросил извинения и ушел переодеваться, потому что обнаружил, что на мне вместо ожидаемых брюк — вахтенные китайские кальсоны с начесом.

Лицо просмотрело записи в судовом и машинном журналах, одобрительно потрепало Вадьку Тартюка по кожаному плечу и ушло на плавбазу попутно вздремнуть в комфортабельной каюте; Сева Холмогоров сделал след-

ку по-архангельски с луком, и после кружки чая Вадька Тартюк нам сказал:

— Монсенёры, у меня сегодня звездный день. Они-с (он кивнул в сторону плавбазы) гарантировали место старпома на «Быстрице», через неделю иду к Лабрадору обслуживать рыбаков.

— Отличный ход, — сказал я, — а не жаль? Столько ведь отработал...

— Дело сделано. Если вы не против, я назначаю вам рандеву в «Дарах моря».

Мы со стармехом не были против.

...Через неделю я забежал к Вадьке на судно пожелать счастливого плавания. Подтянутый и чистый, в неизменной кожанке, Тартюк сбивался с ног.

— Честно говоря, я знал, что старпом перед отходом — каторжник. Но чтобы так? Вторые сутки ботинки некогда почистить, не скальте зубы, мсье! Слушай, посиди пока вот тут, в углу... Ну, что там еще?

— Слушай, Вадик, я пойду, — робко сказал я, — счастливо тебе.

— Извини, пока! — ответил он и протянул мне руку над плечом какого-то кладовщика, который просил расписку на шланги. — Сам видишь, что и как. Ничего, и это перетерпеть надо. Оревуар!

Я глянул на его сутулые боксерские плечи, склоненные над полированным письменным столом, вздохнул и ушел. Вот и еще одна перемена, а куртка у Вадьки все еще неплохо выглядит.

...Собственно, можно не рассказывать о нашей жизни с часа окончания мореходки до нынешних дней, достаточно рассказать о Вадькиной куртке.

Она была куплена в виде длинного кожаного пальто с меховой пристегивающейся подкладкой еще в тот отдаленный уже теперь совсем период, когда мы с ним, возвращаясь из рейса, не брились по пять суток, чтобы появилась мало-мальски заметная поросль и чтобы сами мы выглядели по возможности усталыми и слегка изможденными морскими волками, которым на берегу должно быть позволено больше, чем всем прочим... Это пальто, видимо предназначенное для заслуженных полярных капитанов, мы покупали с первой полочки, в складчину. По жребию оно досталось Вадьке Тартюку, но Вадька недолго носил его

в первозданном виде. Он вскоре женился, и из меховой подкладки была сооружена отличная шубка для молодой жены. Теперь та шубка, конечно, давно заброшена, и Ва-дина жена ходит в настоящей норковой, ради которой он как-то два года подряд не вылезал с судна... А пальто, в соответствии с цветами моды, я знал потом и черным, и коричневым, и золотистым, оно было даже светло-шоколадного цвета. В соответствии с той же модой пальто постепенно укорачивалось, пока — как раз к тому времени, когда Вадька стал капитаном, — не превратилось в уже известную всем нам куртку...

После того как Вадька ушел на «Быстрицу», я не видел его почти целый год.

Мы встретились на морском вокзале неожиданно. Знаете, после судовых рационов неплохо бывает сжевать хороший бифштекс.

— Вадька! Разве вы пришли?

— Бон суар! Садись. Я рад тебя видеть. Ты что, не знаешь, я же новое судно принял?! Маша, еще коньяк!

— Обождете, — улыбаясь, ответила Маша.

— Как же вы обращаетесь с заслуженным капитаном? — спросил я.

— Хочу — и обращаюсь! — сказала веселая Маша и подмигнула нам.

— Ну ладно, Вадька, я тебя поздравляю!

Он сидел по-свойски, и новенькая тужурка с погончиками о четырех лычках была ему очень к лицу.

Мы проговорили тогда долго, я в основном слушал. Улыбчивая Маша была готова обслуживать нас до бесконечности, но Вадька вдруг твердо сказал:

— На сегодня — хватит! Слушай, может, ко мне домой теперь, а? Лида, пожалуй, будет рада. А лучше заходи к отходу часов в девять на судно, рюмка «Баккарди» для тебя всегда найдется. Да и вообще переходи-ка ты к нам, чего застрял?

— Попробую исправиться, но теперь за тобой не угонишься.

— Это ты зря. Хотя, что поделаешь, се ля ви!

Он остановил мою руку и расплатился за все сам. Вырос Вадька, еще тщательнее стал его костюм, только плечи так и остались прежними, с сутулинкой. Выходит, не все меняется, даже если переберешься на несколько этажей выше?..

В девять утра ему уже было некогда. У него в салоне стояли с докладами механик и штурмана, а сам Вадька, слушая их, на пороге спальни менял мягкие домашние туфли на полыхающие лаком ботинки.

— Что смотришь — вещь? В Сент-Джонсе покупал. Продолжайте, продолжайте, Григорий Семеныч. Значит, претензий не будет? Отлично. Все свободны. Предупредите буксиры. Салуд! Ну, как дела? Хорошие ребята. Между нами говоря, в море можно сутками не вылезать на мостик...

— Как поживает твоя куртка, Вадька?

— Пока жива. Пожалуй, пора ее менять, а? — он хлопнул меня по спине. — Извини, сейчас ко мне придут из гавка.

...Когда плавбаза, облепленная тремя буксирами, вытягивалась на рейд, я стоял на причале в толпе провожающих, стараясь разглядеть на мостике Вадьку Тартюка. Мостик был высокий, и Вадька как-то потерялся на нем, а быть может, я еще не совсем отвык видеть его в другой обстановке и потому не находил глазами за сто метров, хотя раньше, ручаюсь, замечал за милю. Рядом со мной всхлипывала чья-то молодая женщина. Но Вадька Тартюк оставался самим собой: он был отличный моряк, не любил, когда его провожают слезами прямо на причале, и потому с женой всегда прощался дома...

Потом Вадькин след затерялся на промыслах в океане на полгода или даже больше, во всяком случае я долго ничего о нем не слышал, потому что сам ушел за границу принимать новое судно.

Первая весточка о нем пришла из розовых уст уже упоминавшегося в рассказе нашего однокашника капитана Геннадия Макарова.

Мы стояли у Медвежьего борт о борт, перегружая треску, и я отправился к Макарову в гости. Макаров, как всегда, был жизнерадостным и огорошил меня сразу, даже не помогая выпутаться из грузовой сетки, в которой меня опустили к нему на палубу.

— Хи-хи, — сказал Макаров, — слышал, Вадя-то Тартюк сгорел.

— Травн, — ответил я, выдирая из тросов каблук.

— Раз говорю, значит, сгорел. Случайно, говорят. Сидел в каюте, читал книжечку — хи-хи, — а помощник у него по запарке целую милю сетей на винт намотал. Букси-

ровали в порт, то-се, прости, убытки, — скинули Вадю!..

...Эх, Вадька, Вадька! Богиня случая осталась верна тебе до конца! Только зачем она выдала тебе такой неподходящий билетик?

Я представил себе сутулую фигуру Вадьки Тартюка, какой я видел ее в последний раз на плавбазе, пожал гостеприимную макаровскую руку и полез обратно в грузовую сетку...

А потом я увидел Тартюка в знакомой куртке, сидящим верхом на куче всякого снабжения в кузове грузовика. Я помахал рукой, он лихо откинулся назад и громыхнул по крыше кабинки. Грузовик чавкнул тормозами, и Вадька спрыгнул прямо в холодную грязь.

— Бонжур! Видишь, какие пироги...

— Закури, Вадя.

— Не надо. Чего же ты не заходишь? Я уже месяц как в порту. Вышибли из-под меня капитанское кресло. Теперь каждый со мной снова на «ты», словно мы все щи из одного лаптя хлебали...

Он виновато усмехнулся:

— Рано, выходит, меня потянуло в лакировках ходить, сапоги еще поносить придется...

Что ему было сказать? Уж очень неожиданно он спрыгнул с грузовика, хотя сапоги, конечно... А я тоже хорош гусь, последние годы все со стороны на Вадьку смотрел, будто могу поклясться, что со мною такого не случится!

— А ты, слышал, капитанишь? Это хорошо. — Он обернулся к кабинке: — Да не шуми ты, Анн Михална! Успеешь еще два раза до обеда, если шофера за баранкой не усыпишь!.. Вот экспедиторша попалась, понимаешь!

— Ничего, бывает и хуже...

— Что же делать, переживем и это, как ты думаешь?

Вадька Тартюк поставил ногу на грязный, облепленный глиной и рыбьей чешуей скат, уцепился за борт грузовика, и из клубов маслянистого дизельного дыма до меня долегло:

— Хреново без вас, ребята! Силь ву пле на Джорджес-банку, а!

В те времена мы еще ловили рыбу на Джорджес-банке.

КАПИТАН, КАПИТАН, НЕ ГРУСТИ...

Капитана занесло сюда случайно, «осенней непогодой», — как он сам шутя сказал ей. Разумеется, его не принесло сюда, как сорванный осенний лист, — он сошел на берег с теплохода, одного из немногих больших торговых судов, швартовавшихся в этом году у коричневого плавающего причала, среди длинных и молчаливых военных кораблей.

А на ней была серая юбка, почти такая, какой она значится в старой полуморской-полублатной песне, и тонкая кофточка. И чулки у нее были черные, только не плотные, а такие, что сквозь них слегка просвечивала кожа. Капитан это сразу увидел, он привык замечать детали и не думал, что это неприлично, чего уж там.

За его спиной двое старших лейтенантов полушутя-полусерьезно показали ей кулаки, капитан это тоже успел заметить.

Она ему рассказала, что сейчас уже не танцуют твист, а когда он попытался протестовать, быстро-быстро объяснила ему, что в моде нынче шейк и медисон, а что касается старших лейтенантов, то это друзья мужа и, конечно, они имеют полное право немного ревновать и вообще следить за ней.

Капитан не совсем был уверен, что теперь в моде шейк и медисон, а также что старшие лейтенанты имеют право следить за ней, пусть даже и немного, — но возражать не стал. Зачем ей это надо? Шторы на окнах были раздернуты, за стеклами светился мягкий снег, музыка тоже была задушевная. И к чему человека огорчать правильно придуманными доказательствами, словно и так не видно, что он не дурак и мог бы выложить по всем этим поводам три тысячи прописных истин?..

Вот так примерно они и разговаривали, то есть больше молчали, потому что иногда бывает и так, что чем больше

молчишь, тем больше и расскажется. Во всяком случае, они-то чувствовали, что так бывает, а может быть, уже и знали это. Но все время нельзя молчать, когда вас двое да еще в толпе, это уже действительно становится неприличным, и капитан попросил ее о таком одолжении, чтобы она ему без обиняков сказала, когда он ей надоест. Он так изъяснился:

— Только скажите мне, пожалуйста, сразу, когда моя персона вам надоест.

Капитану не исполнилось тридцати, и он по молодости еще допускал в разговоре с женщинами витиеватые выражения; не помогло и то, что он успел помотаться по свету. Ей-богу, лучше молчать, когда не говорится просто, лучше взять ее за руку или, наоборот, руку ее отпустить — и все ясно.

Так вот, капитан ее попросил об одолжении и взял за руку, и она ему ответила: хорошо. Как ответила? Да просто же: руку из его руки не выдернула. А другой рукой потрогала значок у него на груди и уже вслух сказала:

— Красивый. Это что?

Он ей тоже вслух ответил:

— Это значок капитана дальнего плавания.

Тогда она грустновато добавила:

— А у него такого нет. И никогда не будет. — Руку она все-таки вытащила, и стало понятно, что «у него» — это значит у ее мужа.

Но все же, когда он ее вел обратно, к подружкам, она на него прямо посмотрела и сказала:

— Вы мне еще не надоели.

Оказалось, что глаза у нее голубые, как в той же уже упомянутой песне.

Капитан твердо кивнул и вдруг заметил, что в зале жарко, потому что они станцевали четыре танца подряд. У него лоб загорелся, хотя не было выпито ни грамма даже слабоалкогольного напитка, так как единственная столовая в базе была на переучете, а на судне он сделать этого не догадался.

Неудобно было стоять в зале с идиотским румянцем на лице и в мундире при всех регалиях, но он таки досмотрел, как она подбежала к своим подружкам, улыбнулась им — и те заулыбались.

Однако на следующий танец он пригласил не ее, а другую женщину из соседней с ними компании, красивую

и веселую, она даже таяла в танце, но все это было не то. Разве не то скроешь? Он по-кавалерски отвел женщину до места, а когда повернулся и пошел к дверям, то услышал за спиной нехороший хохоток, и потом капитана почти бегом обогнала она и, не оглядываясь и не прощаясь, застучала каблучками вниз по лестнице.

Капитан сначала было растерялся, но взял себя в руки, успел остановить ее на улице и умолить подождать, ну хотя бы две минутки.

Он это сделал совсем не потому, что ему не хотелось так быстро вернуться на судно и глядеть в любопытствующие глаза вахтенного штурмана или там засесть одному в каюте и курить. Каюта у него была светлая и огромная, такую не прокуришь даже вместе с агентами всех портовых маклерских фирм, хотя, как известно, агенты здоровы поднять и побеседовать на дармовщинку.

Он ее умолил потому, что просто невысказано было так вот распрощаться после того, что они успели про себя намолчать. Наверное, у него это искренне получилось, потому что она остановилась, потоптала белым сапожком снег и сказала:

— Я здесь побуду.

Капитан живо схватил куртку и, путаясь в заграничных молниях, успел заметить, как оба старших лейтенанта решительно натягивают шинели. Он ей сказал об этом, и она провела его задворками на какую-то улочку, шедшую прямо в гору, остановилась:

— Знаете почему те женщины смеялись? Они думают, что вы ищете себе что полегче. Разве вы такой?

Капитан смутился, но врать было нельзя, и он ей ответил:

— Иногда я бываю таким.

Тогда она поправила цветастый платочек и добавила:

— Я думаю, что я в вас с самого начала не ошиблась. Почему же тогда у вас жены нет?

— Жена у меня есть...

Она отвернула ему воротник куртки, вздохнула, взяла его под руку и опять сказала, что твист уже не в моде. И капитан понял, что если он сейчас что-нибудь единственное не скажет, то не скажет вообще никогда. Он освободил руку, взял ее за плечи, повернул к себе и посмотрел в глаза. А она наклонилась к нему и прошептала:

— Это ваш пароход весь в огнях?

— Мой, — ответил капитан.

— Вот видите, ваш! Вы уже всерьез считаете себя летучим голландцем. А раз вы так считаете, то кто же вам поможет?

— Вы, — выдохнул капитан.

— Значит, вы думаете, что мы друг у друга как на ладони?

— Да. Это же хорошо.

— Да, так редко бывает, — согласилась она, — я одна сейчас, его нет и еще долго не будет... Но разве вы — такой?

Снег на ее плечах был теплый-теплый.

Капитану захотелось закричать на нее, может быть даже ударить, ведь нельзя же было жить с такой беспощадной ясностью! Выходило так, что, как бы он ни поступил, остался бы сам или увел ее, — он все равно ее предал бы, как предают родник, к которому толкает жажда, наступив в него сапогами.

— Видишь, как бывает непросто, а ты ведь и не знал об этом. Ты еще глупый, не думай, что ты летучий голландец...

— Ладно, — ответил капитан и отпустил ее плечи.

— Не нужно обижаться. У нас с мужем будут дети. Они будут солдаты и музыканты, я ведь музыку преподаю... Пойдем, я провожу тебя до причала, мне тоже будет плохо, если ты сейчас останешься один.

Капитан злобно вспомнил диспетчерское задание, затолкнувшее его в эту дыру, и этот мокрый вечер как раз между осенью и зимой, и бездарно потраченное время на разговоры о том, в моде ли твисты и медисоны, словно они так уж его интересовали в последние десять лет, и ее руку у себя на плече и глянул на нее. Черт побери! — она разрушала привычную орбиту, в которой он обретался, его собственный мир распадался на куски и летел кувырком, и из-за чего? Из-за какой-то женщины, каких тысячи разбросаны по свету, из-за бабы, сумевшей сыграть на струнках, о существовании которых в себе он раньше только слабо догадывался. Она-то знает себе цену: любят всяких, но любить могут только чистые, от этого не уйдешь.

Капитан закурил сигарету. Какая разница, все равно ведь все дело в ней, а не в нем!

— Ты умница, — сказал он ей. — Дальше не ходи.

Она зябко пожала плечами, перехватила рукой ворот и согласно качнула головой.

— Пока! — Он повернулся и пошел вниз по улочке.

Белые борта теплохода, исхлестанные снегом, выросли за прибрежными казармами, а он еще почти у трапа сам себе говорил: «Ох и баба! ну и баба!» — хотя ему хотелось называть ее совсем по-другому, но это пусть останется между нами, чтоб вы не подумали, что капитан, исколесивший полшарика, на самом деле мог разомлеть из-за какой-то серой юбки и голубых глаз.

1966

БОРМОТУХА

Заднее колесо занесло, и Гошка Краснов едва не упал, кое-как проскользнув вдоль лужи. Не надо было так резко тормозить, да очень уж знакомый голос!

Заваливая мотоцикл на правую ногу, он оглянулся и никого не увидел.

Под густыми короткими тополями у зеленого забора мелькнули чемоданы, бабы платочки, фиолетовая болонья и несколько неразличимых пиджаков.

Гошка подтянул мотоцикл во влажную крапиву у обочины, поближе к кирпичной стене сберкассы, попробовал, как он там стоит, снял очки и пошел к автостанции, оглябая шумную проточную лужу. Тополя у забора блестя на солнце, и слышно было, как срываются с листьев капли и звучно падают в придорожный песок.

Несколько дней стояла такая сухая и пыльная жара, что пассажиры выкатились на улицу, как только отгрохотал дождь.

Чемоданы рядком уставлены на скамейках, а пассажиры дышат, жмурятся на солнце и от нечего делать разглядывают Краснова: и бабы, и дед с бамбуковым посохом, и та, в болонье. Туфельки каблучками на треть увязли в песке, плащ чуть распахнут, и рукава почти до локтей закатаны.

— И потолстел же ты, Гошка, право! — Шлепок по кожмитовой куртке был звонкий, его облапили сбоку, неумело и старательно стали тискать. Пахнуло бензином, дровами и нестираным бельем. Обнимавший был повыше, и, выворачиваясь, Гошка поймал ладонями его сухие ребра, надавил, и тогда его выпустили.

— Сразу не узнаешь тебя, хрипишь, тощий ты стал... Давно я тебя не видел, Коля.

— Были бы кости, мясо нарастет. Ну как, поздороваемся? Гошка ты мой!

Они снова обнялись, и Гошка на одной руке раза три прокрутил его вокруг себя.

Затем они еще похлопали друг друга по плечам и по спине, хохотнули, покрякали, посмеялись, и Гошка достал из нагрудного кармана пачку сигарет.

У Коли кожа на лице стала слишком просторной, оплыла под глазами; на щеках, где были улыбочивые ямочки, теперь висели глубокие вертикальные складки. Только глаза голубели как прежде из-под козырька зачуханной шестиклинки. У него по-прежнему не росла борода, только отдельные волосинки торчали кое-где.

Он курил, оглядывал Гошку и не замечал, что редкие капли с тополя падают ему на плечи, на кепку и за ворот пиджака. Гошка вспомнил и этот когда-то нарядный однобортный пиджак и сказал:

— Давай-ка отодвинемся в сторонку. За ворот льет, не видишь?

— Попривык, пиджачок жалеть не приходится, — ответил Коля и вздрогнул от очередной крупной капли.

Булькала лужа за спиной, сквозь кожмнит ощутимо начинало жечь солнце.

— А помнишь, Гошка, как мы с тобой на Диксоне? А?

— На Диксоне теперь новый клуб построен, а этот снесли уже. Не читал? В газетах было.

— За всем не уследишь. И тот неплох был.

— Так ведь и свадьба неплоха была. Или как?

Коля вяло улыбнулся в ответ, поплевал на сигарету, отломил потухший кончик и сунул остальное в карман.

— После дождя еще жарче будет. Не сварись ты в своей куртке?

— Ничего, я на ветерке...

— Ты же мотоциклы всю жизнь презирал. А теперь что — с жиру?

— Выходит, с жиру...

— Я тебя только по хохолку и узнал. Сверкаешь — смотреть больно; нет, думаю, это Гошка едет...

— Выходит так, Коля, — ответил Гошка, засмеялся и хлопнул его по плечу. — Чего мы тут на солнышке, пойдем хоть кваску выпьем. Ты как на это?

— Да не знаю, право. Надо ли? Ты сам-то как?

— Кваску можно.

— Квасок хороший, — Коля чуть засуетился, — пойдем, у Шуры и кроме кваску есть. Не оглядывайся, машину

твою не уведут, давно такого не было. Зеркальце, бывает, отвинчивают. Так из буфета его видно будет. Мы так сядем... Пошли, Шура — она всегда...

Гошка задержался на ступеньках павильона.

Тополя быстро обсыхали, земля тоже. Бабы, сняв чемоданы, сидели на скамейках и шелкали тыквенные семечки, двое девчушек облизывали эскимо, вглядываясь в поворот улицы, и только дед, поставив легкий посох между ногами, обутыми в лыжные ботинки, с завистью смотрел в их сторону, да еще женщина та глянула искоса и тут же отвернулась.

Была середина недели, за полдень, июль. Малолюдный поселок подремывал, не слыша пролетающих по обводному шоссе машин.

— Ты что пропал? Давай сюда. Душновато, но переживем.

«Душновато» — не то слово. В павильоне, где вплотную разместились два крытых пластиком стола, стойка, стулья и несколько пивных бочек, стоял сырой настой пива и ви-негрета. С потолка тяжело свисали облепленные мухами липучки. Но все было чисто прибрано.

— Добрый день, — сказал Гошка.

За занавеской зашевелились, но не ответили. Потом оттуда, из полутьмы, вышла буфетчица в белой куртке и ярком платочке.

— Ничего не получишь, Коля, сначала деньги давай.

— Да ты что, что ты, Шура, я же не один, мы вот...

— Добрый день, — повторил Гошка.

Она вгляделась, помедлила, недоверчиво улыбнулась:

— Здравствуйте. Вам перекусить что?

— И это тоже. А вот нельзя ли ради дождичка форточку открыть?

— У меня решетки на окнах. Место слишком бойкое, форточки с этого года не открывала. Вот посмотрите.

— Я все же попробую. А ты, Коля, закажи чего-нибудь.

Пока Гошка, подстелив на бочках несколько бумажных салфеток, возился с форточкой, отгибал ножом гвозди, Коля приговаривал у стойки:

— Эх ты, Шура! Мы что пить-то будем, Гошка? Беленькую?

— Для меня не надо. Если вина полстакана...

— Правда, жарко для беленькой. Вечером еще пойдет, в холодке, «боровичанка», а сейчас жарко. Ты, Шура,

пару пива дай, ячечк, ну и бормотухи по стаканчику. Яйца-то свежие?

— Видишь, из холодильника достаю.

— Ты, Шура, не стесняйся, наливай по каемочку. Бормотушка сейчас в самый раз. Свежая бормотушка-то?

— Не пробовала. Как привезли, первый чайник разливаю. А ты что, теперь разбирать стал?

Чавкал пивной насос, плескалась в стекле жидкость.

Гошка открыл форточку, отодвинул шторку, в буфете посвежело, и в окно стали видны длинная, уходящая в гору подъездная дорога, мотоцикл в крапиве, листья тополей и угол автостанции, заваленный пустыми ящиками.

— Ну вот, теперь жить можно.

Коля уже ставил на столик соль, тарелки, пиво и стаканы с вином.

— Четырнадцать градусов. Раньше это вино плодovыгодным звали. Видишь, прямо из чайника льют. Бочковое вино-то, и пиво тоже. Ну что, сядем?

— Пойду заплачу...

— Да ладно уж, заплатите, как посидите, — ответила буфетчица.

Гошка расстегнул и снял куртку, повесил ее на стул, и они сели.

— Ну что? — спросил Коля.

Гошка разглядывал его узловатые, словно ревматичные, пальцы, обнимавшие стакан. Не верилось, что это были те самые пальцы. Когда-то Коля мог не глядя прочертить мелом на доске какого хочешь диаметра окружность, и было бесполезно промерять ее циркулем; когда-то он мог на любой качке с первого раза взять секстаном высоту звезды, и было напрасно проверять точность его отсчета. И много кое-чего он еще мог.

— Ну что? — повторил Коля. — Помнишь, как мы на Диксоне?..

Чего же не помнить? Тогда был прозрачный, теплый, сонный сентябрьский арктический вечер. Затих поселок Диксон, и сам остров Диксон, и остров Конус, покрытый угольной пылью; недвижно отражались в воде корабли на рейде, ожидающие своей очереди на ледакольную проводку. На мусоре у домов врасстяжку валялись диксонские собаки. Гошка возвращался на судно с почты, но вельбота не было, и он сидел на завалинке причальной водопроводной будки,

курил и пытался рассмотреть крановщицу, которая разгрузала речной лихтер с дровами.

Не выкурил он и полсигареты, как появились на причале Коля в форме с нашивками, без пальто, под руку с аккуратным старичком, одетым в ненецкую кухлянку, кепку и хорошие серые брюки, и еще несколько человек.

Они выстроились вдоль отбойного бруса и закричали на стоявший поблизости беленький точеный теплоходик, скандируя, словно болельщики на хоккее:

— Шлюп-ку! Шлюп-ку!

И старичок и Коля кричали тоже.

Они вволю наорались, вызывая шлюпку, потом начали разбредаться в поисках места для перекура, и тут Коля наткнулся на Гошку.

— Гошка! Ты чего тут притаился? Здравствуй, земля! Профессор, знакомьтесь: это мой друг Гошка Краснов. Профессор Анохин Иван Алексеевич. Иван Алексеевич, Гошка — мой земляк. Жалко, что он не был с нами, право. Здравствуй, дружище! Ну, Гошка!

— Эк тебя понесло. Ты что нарядился, словно министра встречать собираешься?

— Женюсь, право, женюсь.

— Здесь?!

— А как же! Жаль, тебя с нами не было!

Он стал закуривать, и профессор, доверительно наклонясь к Гошке, сообщил:

— Вы его земляк? Мы сейчас были у его невесты, на помолвке. Коля — очень способный молодой человек. Да. Мы с ним сделали два прекрасных гидрологических разреза. Но — его нужно оберегать. Он слишком возбудим. Я его предупреждал. Но — пока, видите, — профессор развел руками, — помолвка есть помолвка.

Коля действовал решительно. Через минуту записка с ценными указаниями старпому лежала в глубине профессорской кухлянки, еще через пять минут он погрузил всех в подошедшую шлюпку, и еще через минуту они с Гошкой шагали к дому невесты, хотя Гошке совсем не хотелось пить, даже за помолвку, в такой чудный, редкий день...

— Правда, хорошо было на Диксоне? — еще раз повторил Коля и облизнул губы. — Давай-ка за это!

Передергиваясь и морщась, он выпил стакан до дна, схватил кружку с пивом.

Гошка тянул липкое, с привкусом рябины и наверняка разведенное водой вино и смотрел на Колин кадык, ходивший вверх-вниз.

— Слушай, Коля, а тебе можно ли это? Стоит ли...

— А, подумаешь, право, стакан бормотухи. Вот сейчас закусим поплотнее... Верно, Шура?

Буфетчица не отвечала, что-то перекладывала из ящика в ящик.

И Гошка вспомнил, как обрадовались там, на Диксоне, Колиному возвращению, как бегала в магазин невеста, как хлопотали ее пожилые родители, как они сидели за вновь накрытым столом с полотенцами на коленях, а потом ходили по вечернему Диксону, пели, добирались, в знак дружбы моряков, до могилы норвежца Тессема, и хотели было идти за копченым омулем километров за пять, на рыбфакторию, но пошли все-таки к причалу, и потом он вез клевавшего носом Колю в своем вельботе, и еще за полмили видел, что им с причала машет вслед Колина невеста, тихая северная девушка, которая весь вечер смотрела на Колю с такой преданностью, что Гошке становилось и завидно, и страшно за него... Коля уснул в вельботе, и он увез его к себе на судно, и стыдно было поднимать шлюпку с таким грузом на борт, но ее подняли, и Коля еще часа полтора спал у Гошки в каюте, и потом его старший помощник долго и осторожно швартовался, чтобы забрать своего капитана...

— Слышь, Гошка, я ведь, право, тогда бы так не напился, если бы тебя не встретил. А встретил — и перебрал... Какого друга встречу — так и переберу!..

Гошка еще раз посмотрел на Колины руки, на отечное лицо, на его влажные глаза и подумал, что, может быть, он и прав, хотя не с ним же одним он напивался в жизни...

— Закурить здесь можно?

— Да уж курите, — бесцветно ответила буфетчица, — сделаю вам исключение.

— За форточку?

— Так просто.

Дорога в зарешеченном окне все так же тянулась в гору, в зное плыли листья тополей. Пока Гошка вспоминал про Диксон, он даже забыл, что сегодня такой жаркий,

промытый ливнем день, а тут снова его увидел и почувствовал, что все-таки душно, и шея сразу вспотела под подбородком.

— И чего мы тут сидим, Коля?

Тот не ответил, сунул наполовину облупленное яйцо в соль, откусил и, прожевывая, сказал:

— Давно мы с тобой не виделись, Гошка. Я теперь здесь, у матери живу. Когда же мы с тобой виделись последний-то раз, право, не помню... В Мурманске летом?

— Да нет, Коля. А впрочем, да, в Мурманске, летом. Душно было, вот как сегодня...

Но они встретились последний раз не в Мурманске летом, Коля это забыл или не хотел вспоминать... На Двине уже начинался ледостав, белели забереги в излучинах, промерзающий мокрый снежок лежал на крышах и обочинах канав, и скользко было идти по настилу деревянных тротуаров вдоль бесконечной архангельской улицы. Гошка так долго ждал трамвая, что шел пешком.

Разъезжались каблучки, похрупывал снег, серый вечер сливал крыши в одну зубчатую и холмистую стену. Впереди шел пьяный. Он несколько раз падал, с трудом, с четверенек, поднимался, и опять падал, и искал свою фуражку, и опять начинал все сначала. Гошка догнал его, потому что тот снова упал, скатился в канаву и не мог из нее вырваться. Гошка прошел бы мимо, но узнал в этом измочаленном человеке своего земляка и однокашника Колю. На кого он был похож в светлом заграничном пальто!

Когда Гошка вытащил его из канавы, Коля заплакал.

— Гошка, ты? Земеля, видишь как я? Видишь? Сволочи. Сволочи все! Ух-х! Фуражка где? Тут? Тут я живу, Гошка, земля! Пойдем ко мне. Шура стол накроет, что ты! Ух-х! Нет, не накроет... Чихать ей теперь на меня, понял, право? Не, домой не пойдем!

— Какой у тебя адрес-то?

— Дом одиннадцать, квартира семь. Не пойду я туда! Если любят — помогают, а не так...

— Пойдем потихоньку. Только не обнимай меня, грязный ты, как цуцик.

— Не пойду!

— Потихоньку.

— Слушай, Гошка, возьми меня к себе матросом, возьми, а? Я теперь в портнадзоре. На берегу я, понял? Я те-

перь, дружище, старший надзиратель. Ух-х! Где смысл-то теперь, а?

Гошка повел его к дому, и они несколько раз падали, и Гошка тоже перемазался застывшей грязью, потому что нужно было довести Колю домой. Он совсем раскис, и пока Гошка затащил его на второй этаж, он взмок. Коля тогда еще не был таким тощим, как сейчас...

— Т-ты о чем думаешь, Гошка? — спросил Коля, и Гошка увидел, что тот пьет пиво уже из его кружки.

— Тебе хватит, Коля. Закусывай как следует. И пива не трогай. Хватит.

— Ну ладно, не буду, право. Ты о чем думаешь?

— Да так, смотрю...

Коля начал очищать яйцо, а Гошка довспоминал до конца, как привел его домой в Архангельске.

Открыла соседка, со вздохом посмотрела на них. Гошка спросил, которая дверь, протаскил Колю по коридору, постучал и толкнул дверь, не слыша ответа. В чистой комнате за столом, у электросамовара, сидела тихая круглолицая женщина, видимо после бани, с белым платочком на голове, с розовыми щеками, в халате, и пила из чашечки чай.

— Добрый вечер!

Она отодвинула от губ чашечку, медленно повернула голову.

— Здравствуйте, — еще раз сказал Гошка, — куда мне его?..

— А положите на пол.

— Под голову бы что...

Она не ответила.

Гошка положил Колю вдоль стены у порога, расстегнул ему ворот, подложил под голову измятую и грязную его фуражку.

— Фу-у, черт возьми. Вот, встретил...

Женщина молчала.

— Вот, я напишу записку: тут мой адрес, и судно, и где сейчас стою. Пусть завтра зайдет, может быть, что-нибудь придумаем.

Она не поднималась со стула. Гошка положил записку на пол рядом с Колей, хотел было попросить одежную щетку, передумал, махнул рукой и ушел, пожелав ей счастья.

Так они встречались с Колей в последний раз...

А Коля уже упирался подбородком в руки, и локти его разъезжались в стороны по пластику стола. Зря они пошли сюда!

— Ну, это ты брось, Коля, это ни к чему, слышишь?

Он открыл белесые глаза, похлопал все еще красивыми ресницами, заулыбался:

— Эх, хорошо, Гошка, что мы с тобой встретились, верно ведь, хорошо? Давно я тебя не видел. Рад я, понял, право?

— Ты посиди, я рассчитаюсь и закусь возьму заодно. Добро?

— Давай. Я еще чего-нибудь съел бы...

Буфетчица уже давно смотрела в их сторону и, наверное, прислушивалась.

В павильон вошел дед с лыжным посохом, и они вместе пошли к стойке.

— Вам чего, дедуся?

— Налей, милая, винца стаканчик. Не, белого не сдюжить, ты мне этого вон, из чайника. Сколько стаканчик-то стоит?

— Тридцать семь копеек сто грамм.

— У меня тридцать пять тут, не обессудь.

— Ладно, недолью на две копейки.

Дед взял стакан, зорко посмотрел на Гошку:

— Можно, милый, я тут за столик сяду?

— Места не закуплены, батя.

— Ну, спасибо, милый.

Гошка попросил чаю покрепче, но его не было, про кофе и говорить нечего.

— Тогда дайте, пожалуйста, еще чего-нибудь поесть и расчет.

— Зачем вам закусьвать-то? Вы не будете, а Коле и вовсе ни к чему. Ему бы теперь на травку. Три семьдесят с вас.

— Пожалуйста. Сдачи не надо.

— Возьмите. Напрасно вы с ним пили. Теперь он неделю опять не человек.

— Спасибо. Он что — уже совсем?

— Куда уж дальше. Боюсь, его и шабашники от себя выгонят. Лес они тут для полтавских колхозов заготов-

ляют. Тоже вроде его все, да получше. Ну, а вы как живете?

— А вы что, меня знаете?

— Знаю. Я ему женой была. Вы у нас на Диксоне в гостях были.

— Шура...

— Так вот... Я уж и на алименты рукой махнула, какие с него алименты? Так, подарок иногда занесет... Дочка у нас, шестой годик. Сама зарабатываю, в буфете можно. Вы уж на меня не сердитесь за Архангельск. Стыдно, стула не предложила. Я думала, это он с вами пил. А его тоже совесть заела, не пошел он к вам наутро, опять напился. Лечился он... С партии выгнали... Сюда переехали, а что толку? Год уж как развелись... У вас-то, видно, все в благополучии?

— Да так... Шура, я зайду как-нибудь? Может, надо что?

Она не ответила, отвернулась и пошла за занавеску. Гошка вернулся к столу.

Коля спал, и дед, отставя бамбук, подтаскивал его голову к середине стола.

— Что в парной тут, развезло парня. Видать, крепкие вы друзья были.

— Были.

— То-то и видать, как даве целовались. Ты что же, пить не будешь?

— Хватит по этой жаре.

— Смотри, конечно, милый, на мотоцикле с этим делом надо осторожно. У нас летось один...

— Кто тебе, батя, такую справку подарил?

— Это? Да это у меня зимой дачники жили, оставили...

— Хороший посошок...

Коля спал, и в углах губ у него начала скапливаться слюна. Гошка попробовал растормошить его, но едва не уронил под стол. Весь он вихлялся и сползал со стула, пока Гошка его тряс. Тогда Гошка вычеркнул спичку и поднес ему к носу синий серный дым. Коля вздрогнул, выматерился и продолжал спать. Кепка-шестиклинка валялась под стулом, и нестриженные русые волосы прядями лежали на мокром столе, на тарелке с яичной шелухой. Наконец-то Гошка почувствовал, как здесь, несмотря на открытую форточку, жарко и душно, и понял, что намочшая рубашка уже давно облепила шею и прилипла к спи-

не. Коля спал. Лицо его медленно краснело, начиная с ушей, и слюна уже выползала с губ на рукав пиджака.

— Батя, поддержи дверь, пожалуйста.

Он обхватил Колю под мышки и поволок на улицу. Упал зацепившийся за ноги стул, и Гошка уже в дверях увидел, как вышла из-за стойки Шура, поставила стул на место и принялась убирать со стола.

Он спустил Колю с крыльца, огляделся и подтащил его к углу автостанции. Дед с лыжным посохом сел рядом. Кое-как удалось усадить Колю в тени на ящик и прислонить к стене. Он все время пробовал падать, и дед сел с ним рядом. Гошка отряхнулся, положил куртку на ближний чемодан и закурил. Дед от сигареты отказался.

Пассажиры с любопытством смотрели на них: и бабы, и девочки, что лизали эскимо, и женщина в легком платье с плащом через руку. Струился вверх пар от сохнувшей земли, Гошка курил, и от его одежды отделялся настой пива и виногрета. Наконец он даже стал понимать вкус табака.

Коля похрапывал и почмокивал, изредка невнятно бормоча матерщину. Если б он хоть себя любил побольше!..

Гошка затоптал окурки, походил по упругому скрипящему песку, принесенному сверху ливневым ручьем, осмотрел мотоцикл. Зеркальце было на месте, бензобак нагревался под солнцем, и песок посыпался с крыльев, когда он постучал ногой по колесу. Что же делать-то?

Гошка вернулся к автостанции.

— Батя, не знаешь случайно, где здесь лес для Полтавщины заготавливают?

— Как не знать, это, милый, за Кувизином, на левую руку, километра три, там и рубят.

— Машины туда ходят?

— А вот валдайский автобус как раз мимо идет. Сколько время-то? Ровно бы опаздывает он.

— Двадцать минут третьего.

— Так и есть, опаздывает, у них всегда так. Ну, зато приятель твой выспится. А сам-то ты куда?

— В Валдай.

— Кабы он не спал, а тут вишь какое дело...

— Дело такое...

Дед опустил бородку в ладони, умиротворенно вздох-

нул, устраиваясь возле Коли. Начинили трещать кузнечики, и листья тополей жестяно обвисли под солнцем. Бабы в платочках негромко переговаривались, девочки сидели, смирно положив липкие пальцы в колени, и только женщина с болоньей медленно прохаживалась вдоль автостанции, поглядывая на часы.

Гошка смотрел на нее и видел, как за ней, за пригорком, появился квадратный верх стреноженного жердью сена, потом кабина, потом весь грузовик.

Потный, облепленный сеной трухой, усатый шофер выскочил из кабины и весело заорал:

— Автобуса не ждите, бабоньки! Он на восьмом километре сломался. Ждите вечернего! Самую красивую, с ребенком, с собой прихвачу, до большой поворотки. Всего и делов — полрубля в переводе на мягкую пахоту! А ну, кто самая красивая, залезай!

Шофер забежал в павильон, через мгновенье, утирая усы, выскочил оттуда, хлопнул дверцей и укатил. За грузовиком вдоль улочки приподнялась низкая пыль.

Гошка потрогал лыжного деда за плечо:

— Батя, ты его покарауль здесь, я часика через полтора вернусь. Маленькая с меня за труды.

— И так посмотрю. Мне твои посулы, милый, что попу хоккей. Не бойся, в санаторию за три рубля сдавать не буду, да и далече санатория-то. Пускай спит.

— Я часа через полтора-два приеду.

— А хоть и не приезжай, это уж ваше дело, дружеское...

— Сказал, приеду!

— Ну и хорошо, милый.

Гошка натянул куртку, надел очки, вывел мотоцикл из крапивы и обрадовался, когда мотор заработал с первого толчка. Выхлоп шел мягкий, оба цилиндра работали отлично. Гошка сел в седло, и руки сами по себе впаялись в рукоятки, а колени прижались к горячим мотоциклетным бокам. Он развернулся вокруг бывшей лужи и тормознул в метре от женщины:

— Ну, королева, серый волк к вашим услугам!

Бабы смотрели на них, и женщина колебалась. Потом шагнула к мотоциклу.

— Болонью вы наденьте, жарко не будет. Садитесь вот сюда. Ремешок у меня тютю. Держаться будете за меня,

не бойтесь, за карманы куртки или вот так. Как вам удобнее. Держитесь крепче.

— Я боюсь немножко...

Она устраивалась на сиденье и все пыталась натянуть платье на колени, словно это кому-то на мотоцикле удавалось. До колен ли будет, когда он выжмет на шоссе этот под сотню в час!

Гошка оттолкнулся ногой, переключил скорость и, заворачивая за угол, оглянулся на автостанцию.

На крыльце буфета показалась Шура с чайником в руках. Она посмотрела в их сторону и плеснула из чайника за крыльцо...

ПАНЕ-ЛОЦМАНЕ

1

К концу рейса у капитана дальнего плавания Семена Степановича Зернова появилась привычка, которая обеспечила ему прием капитанской пищи в одиночестве, как в добрые старопарусные времена.

При очередном плавании на несколько портов США капитан Зернов бесповоротно убедился, как много и для морского дела значит выполнение американского девиза: Smile! Улыбайтесь! Однако, поскольку самому Зернову делать это было не особо удобно — зубы у капитана были неровные и темные от табака, — он решил исправить недостаток хотя бы частично: бросить курить.

Fair enough, it is a go! Идет! Вместо трубки и осточертелых сигарет Семен Степаныч завел себе жевательную резинку. Этим убивался и второй заяц: очищались зубы. И даже третий: как известно, жевание — лучшее средство против сна, а не спать капитану Зернову, подобно всем на свете капитанам, полагалось довольно часто.

Следует заметить, что дело свое Зернов знал отменно, но выдвинулся в капитаны, давно войдя в зрелый возраст, потому что обладал незавидным ростом, невзрачным профилем, рябоватой кожей и волосами такими блеклыми и жесткими, что он однажды в отчаянии — еще в мореходке — сделал шестимесячную завивку, не принесшую, впрочем, ему любви той, которую он тогда любил беззаветно. Где уж тут было положить на него глаз руководству!

Возможно, само руководство в этом и не виновато, ибо в момент выбора чаще всего замечаются фигуры, как бы от бога рожденные для непрерывного подъема вверх, — по внешнему виду. Недаром еще Аристотель говорил: «Красота зрелого возраста заключается в обладании те-

лом, способным переносить военные труды, и наружностью приятной и вместе с тем внушительной».

Так что с помощью чуингама убивался и четвертый за-яц: на скулах капитана Зернова постепенно проявлялись впечатляющие волевые желваки.

В результате капитанская каюта крупнотоннажного рудовоза «Затонск» заблагоухала всеми сортами жвачки, которая закупалась блоками и россыпью, и, рассматривая по утрам, в полдень и на сон грядущий в зеркале зубы и скулы, Зернов удовлетворялся и вдохновлялся все пуще. Он стал разнообразить резинку, как состоятельная дама разнообразит белье. К примеру, на понедельник полагалась освежающая «Мятная», на вторник — деловая «Кокосовая», в среду можно было порезвиться «Супербазукой» или «Дэнди экэптен» с татуировкой, к субботе береглась нежно-розовая «Wild strawbeggu», то есть «Земляничная»...

График жевания постепенно уплотнялся, и, наконец, Семен Степаныч в кают-компанию стал выходить так: садился в свое кресло, закладывал, как обычно, за галстучный узел накрахмаленную салфетку, вынимал резинку из-за щеки и укладывал ее слева от себя, а после еды, прополоскав рот компотом, снова брал жёву с блюдечка, оглядывал ее со всех сторон, словно драгоценность, и запускать в рот. Что и говорить, какой эффект это производило!

Чинный кают-компанский стол начал постепенно пустеть: сначала слева от капитана, потом справа, так что в конце концов вместе с Зерновым столовались обеспокоенный его поведением доктор и четвертый штурман Женья, которому надо было расти.

Заметив опустение кают-компания, Зернов спросил доктора:

— Что все это значит?

— Вы же сами знаете, Семен Степаныч, — туманно ответил доктор, — штурмана сидят у нас по одну сторону стола, механики — по другую, у всех механиков — дочери, у штурманов — сыновья, потому механики любят томат-пасту, а штурмана ее презирают... Затянулся рейсик... Общественные организации очень сильно обеспокоены, а?.. Надо бы медосмотр проходить... Успеем за стоянку?

— Да! — энергично ответил Зернов, закидывая резинку в пасть и поднимаясь. — Успеем. All right. Все верно.

Действительно, все было более чем верно: штурмана

презирали томат-пасту, у него у самого лично было двое сыновей, и рейс затянулся непомерно: три захода на Европу, потом Великие озера, Нью-Орлеан, Италия — и на тебе! — вместо своего родного — балластом на Роттердам, а оттуда с трубами для газопровода Уренгой—Помары—Ужгород — на Север. Зачем?!

Семен Степаныч ничего не имел против проекта «газ—трубы», решительно наоборот, но ведь Новый Порт в Обской губе, куда они предназначались, уже давно и намертво замерз, и трубы могли бы спокойно полежать до лета где-нибудь поужнее, поближе к семьям... East or west but home is best, — Восток или Запад, но дома лучше!

Но! — остановил себя Зернов, — капитан обязан обеспечивать выполнение рейсовых заданий, рентабельную работу судна, — требует раздел «Обязанности капитана» Устава службы на судах морского флота.

В том-то и была закавыка: семьи, точнее — жены, кто соскучился, могут приехать и в Мурманск, а вот план рейса и, соответственно, план года трещали.

Дело в том, что в Роттердаме, предельно затосковав, Семен Степаныч сдал судно старпому и трое суток жевал жвачку, запершись в каюте. В итоге погрузка закончилась двумя сутками позже плана, и капитан Зернов, очнувшись в штормовом Северном море, стал наверстывать время. Увы, оно наверстывалось слабо, несмотря на то, что держали самый полный ход и Норвегию огибали уже по пятам уходящего на восток циклона. ETA — ожидаемое время прибытия — в неближний Мурманск все отодвигалось и отодвигалось, а на носу был Новый год. К тому же и пароходство грозно требовало прибыть в порт назначения до конца текущего года и снять в зачет плана хотя бы одну трубу.

Семен Степаныч лично бегал от локатора к карте, гонял циркуль туда и сюда, пока окончательно не удостоверился, что можно давать ETA к лоцманской станции на 20-00 тридцать первого декабря, и ни четвертью часа раньше.

Речи о зачетной трубе и быть не могло. И о премиях — тоже. Катая на скулах желваки, капитан Зернов сдержанно вымеривал шагами свою каюту от борта до борта, пока маяк Сеть-Наволок у входа в Кольский залив стал не просто подмигивать зелено-красным пробуждающимся оком и не мерцать, подобно иллюминации на новогодней елке,

а, заполняя каюту, бросать истерзанного всеми климатическими зонами Семена Степаныча из огня во мрак и холод и обратно.

Тогда он насыпал жвачки в карманы походной капитанской куртки (была пятница, поэтому использовался голландский вариант «Ореховой»), надел фуражку работы известного международного мастера Жорниста из Одессы и поднялся на мостик.

В темной рубке невидимо передвигались штурмана, светились приборы и так же темно поблескивали восточные глаза и наголо побритая голова рулевого Мустафы Мефистоева.

Море снаружи было непривычно тихим, подозрительно парило, в небе над заливом висели парашютные купола далеких городской огней.

«Хорошенькое дело! — с некоторым раздражением подумал Семен Степаныч, — люди накрывают столы, а у нас и конца не видно. Гудеть начинают... Может, и лоцман будет того», — с еще бóльшим раздражением подумал Зернов.

— Чиф, лоцмана вызывали?

— Бесполезно, — ответил старпом, — бот стоит у причала за горой, нас не услышат. В прошлом году я...

Капитан Зернов чавкнул жвачкой резче обычного, что в последнее время означало: по го, не пойдет! — и взялся за микрофон:

— Э-э... Лоцман, лоцман, я теплоход «Затонск»! Ответьте для связи, прием!

— «Затонск», я теплоход «Кальнишкис». С приходом и наступающим вас!..

— Поздравлять рано, — пробурчал Зернов. — А с кем я, собственно, говорю?

— С лоцманом вы говорите...

— Как?! Вы почему на этом, на «Кальнишкисе»?

— Он пойдет в море, а вас я без промедления поведу в порт. Еще раз — с приходом! Точно подошли. Причал ждет.

Еще бы! Несмотря на некоторую развязность лоцманского голоса и некоторую резкость последних парходских радиogramм, Зернов довольно чвикнул, вспомнил рекламу своей фирмы на обложке журнала «Морской флот»: «Независимый перевозчик Северо-Запад—Юго-Восток Оушн Лайн. Первокласное обслуживание. Конкурентоспособные

ставки. Фиксированные сроки отхода. Сохранность доставки грузов. Северо-Запад-Юго-Восточные Океанские Линии — надежный партнер!»

— ...«Затонск», вам следовало иметь исправный локалатор, в порту много тумана... — с европейским акцентом произнес вдруг динамик радиостанции.

— А это кто говорит?! — подскочил Зернов.

— Это «Кальнишкис» говорит.

— Да где вы? Я вас не вижу.

— Мы — маленький судно. Фантомас. Все в тумане.

Тут Семен Степаныч глянул вниз и увидел, что языки пара лижут надстройку, рудовоз плывет по палубу в морозном дыму. Где-то впереди чуть виднелись два слабых огня — видимо, топовые огни «Кальнишкиса». Конечно, беда одна не ходит — еще и видимости нет!

— «Кальнишкис», лоцмана можно?

— Лоцман с капитаном ушел вниз, подписывать документ.

Туман уже закупоривал нижние слои труб на палубе, сквозь их тоннели неясно промелькивал впереди свет переносных ламп. Опять боцман вешает штормтрап посередине!

— Чиф, почему я должен повторять одно и то же? Да! — гневно проговорил Семен Степаныч (вспоминая положение Устава: капитан обязан принять меры к безопасному приему лоцмана на борт) и сам схватил микрофон палубной трансляции: — Боцман! Немедленно перенесите трап в корму, под самую надстройку. Здесь у нас надводный борт на два метра меньше. Два метра — семь ступенек. Вы представляете, что значат для лоцмана последние семь ступенек, когда он лезет вверх после подписания документов?

2

Лоцман Гаврило Тебенков — так он представился, напирая на «о», вскарабкавшись на мостик, — прежде всего на ощупь поинтересовался, где расположены плафоны светильников, чтобы — как он сказал — «не споткнуться головой», причем погладил по темени и рулевого Мустафу Мефистолева, а затем на ходу объяснил Семену Степанычу, что «фантомас» — прозвище серии суденышек совершенно непредсказуемого поведения, что фантомасом «Каль-

нишкис», как только что оказалось, командует его, Тебенькова, однокашник по училищу Винчас Матулайтис (мореходское имя: Веня Матомлайтес), что отметить неожиданную встречу как следует не удалось ввиду понятной капитану напряженки, что сегодняшний мороз могут выдержать только тараканы с «Дедово», которые от тамошнего доктора спасаются в судовых холодильниках, что «Трансфлот» заполнен затонскими женами и что именно они выбили у начальника порта причал для немедленной швартовки.

Откуда все это лоцману известно, Семен Степаныч не успел спросить, потому что попутно Тебеньков накидал кучу команд рулевому, штурману, впередсмотрящему, на машинный телеграф и в заключение развернул индикатор локатора вверх — под свой рост, так что Семен Степаныч мог разглядеть только смутное, как созвездие Цефей, отражение экрана на подволоке рубки.

Виясь вокруг огромного Тебенькова, капитан Зернов локтем трижды стукнулся о некий цилиндрик, оттягивающий карман лоцманской шубы, но Гаврилова дыхания уловить не мог: оно витало гораздо выше фуражки мастера Жорниста. Похоже, лоцман тоже знал дело предельно четко.

И капитан Зернов включил себе второй локатор и вцепился в его поручни: перемещаясь, Гаврила Тебеньков создавал даже в просторной рубке «Затонска» такую тугую волну воздуха, что Семен Степаныч совершенно отчетливо представил себе выталкивающую силу закона Архимеда.

Движения в этой части залива не было, что подтверждала и рейдовая служба, но Семен Степаныч всегда помнил классическое определение РАС — столкновение с помощью радара, и потому, лишь разберясь в обстановке и частично нейтрализовав влияние Тебенькова собственными замечаниями штурману и рулевому, он почал очередной пакетик жвачки и спросил как бы невзначай:

— А что насчет разгрузки, пайлот?

— Все от бога, дело водяное, — густо ответил от другого локатора Тебеньков, — хотя и мы тоже боремся, как говорится, за каждую рабочую минуту. «Кальнишкиса» досрочно выпустили. Вот еще «Дедово» до нуля в море выйдет — и будет у порта сто три процента, у пароходства — сто один с половиной. План-с! А как же! Понимаю-понимаю... Вам бы хоть на полсуток пораньше... Хо!

Да если бы вы своим женам намекнули, они бы вам и разгрузку организовали в два счета! А что, мастер, где тут вешалка? Жарко.

— Шуба у вас деловая. И карманы приличные.

— Я одного поляка выводил, «Добрая кишения!» — говорит.

— И сколько помещается? — быстро спросил Зернов.

— А сколько надо... Может, кофейку нам принесут, мастер?

Зернов снова чавкнул громче обычного: такого не бывало, чтобы на «Затонске» забывали положение Устава: лоцману отводится помещение, а также предоставляется питание за счет судна.

— Пекарр рахат-лукум к Новому году сделал, — тихо подсказал невидимый рулевой Мустафа Мефистоев, — очен хороши!

Лоцман снимал шубу, и слышно было, как жидкость перекачивается в ее кармане, в цилиндроконусе, будто в балластном отсеке подводной лодки.

— Большая свободная поверхность, — определил Зернов, — следовательно, уже...

Кофе с рахат-лукумом появился своевременно, но прежде того появился на мостике начальник радики и шепотом назвал Семена Степаныча в штурманскую рубку:

— Вот... последняя... Криптом давали!..

— Капитану Зернову, — забормотал Семен Степаныч и смолк...

...«Капитану Зернову тчк Категорически настаиваем вашу личную ответственность добиться зачета выгрузки хотя бы одной трубы репетуем хотя бы одной трубы тчк Нам нужен конкретно подтвержденный результат тчк Не исключено что от вас потребуются деловые предложения исключающие набор красивых фраз тчк Ясность подтвердить...»

— Что же я могу подтвердить, damn it, черт возьми?..

— Работать нельзя. Мы в заливе.

— Вот именно, нельзя работать... — согласился Зернов, скребя волосы под фуражкой обеими руками. — Набор... У меня осталось два шоколадных и три набора виски, но ведь времени не осталось!.. Что? Вы еще здесь?! Организуйте мне связь с портом, но только из радиорубки!

Семен Степаныч воочию представил большую, в мохнатых волосках, руку, подписывающую радиограмму шариком.

ковой ручкой с эмблемой фирмы «Салем» (предложение: «Не исключено...» было явно вписано этой рукою), и затосковал: такую руку не обойдешь. Она тебя... Она тебя и...!

Он машинально развернул еще один пакетик чуингама. Да... Ситуация — и до пенсии не дотянуть, разве что до порта приписки... Проклятый Роттердам!

В ходовой рубке пайлот Гаврила Тебеньков сказал что-то веселое, оба помощника и даже рулевой Мустафа Мефистоев хихикнули, и, очнувшись, Семен Степаныч услышал ответ старпома:

— А у нас примета: не хочешь бэмса с таможней — покупки никогда не перекладывай. Куда балочку со шмутками бросил — там пусть и лежит!

— Это же прозорливым надо быть! — воскликнул Тебеньков.

— А у нас непрозорливых на работу не принимают...

«Конечно, — подумал Зернов, — и этот туда же...»

Двигатель мерно пошатывал рубку, и Семен Степаныч понял, что делать нечего — надо жить дальше. Он посмотрел — для зарядки — карту залива и снова вышел на мостик.

— Ну что тут?

— Молоко, мастер, даже не молоко, а сметана! О! — палубы не видно, — ответил от локатора лоцман, аппетитно отхлебывая из чашечки и похрустывая рахат-лукумом. И Семен Степаныч нашарил — со свету — поднос и кофейник, выложил жвачку на поднос и налил кофе себе: явно требовались физические силы и ясность рассудка.

Тут и начальник рации доложил, что порт не отвечает.

— И не ответит, — подтвердил Тебеньков, — зона непроходимости. Вот повернем — тогда...

Однако не успели еще звуки лоцманского «о» выкатиться в приоткрытую на крыло дверь, как порт вышел на связь сам.

— «Затонск», «Затонск», ответьте порту!

— На связи «Затонск», — изумленно ответил стоявший всех ближе к аппарату Тебеньков.

— Капитана к микрофону... Говорите!

— Странно, — озадаченно протянул Тебеньков, передавая капитану горячую трубку.

А мостик между тем заполнило достойное народной артистки Елены Образцовой меццо-сопрано:

— Семен Степаныч? С приходом, Малыш. Это я.

— Д-Дусёныш?! — завопил Семен Степаныч. — Как ты со мной связалась? Ты где?

— Я здесь, здесь, в Мурманске. Мы сегодня прилетели...

— Ничего не понимаю, Д-Дусёныш...

— Что значит — не понимаю? Почему ты заикаешься? Док телеграфировал из Роттердама, чтобы я сюда обязательно приехала... Ты что, недоволен сюрпризом, Малыш?

— Д-Дусёныш, я сейчас перейду на другую рацию, на другую, понимаешь? чтоб здесь... чтоб здесь не мешать. Я мигом!

Капитан Зернов бросился в радиорубку, где догадливый радист уже нажимал необходимые клавиши, цеплялся за волну порта. Лоцман Тебеньков повторил в заметном замешательстве:

— Странно... Отсюда еще никому с портом говорить не удавалось...

— Пр-р-оходимость... — многозначительно, но тихо, сам для себя, заметил рулевой Мустафа Мефистоев, — вот — пр-р-оходимость!

Следует, кстати, сказать и о супруге капитана Зернова Евдокии Якимовне. Ее полный портрет предугадал еще задолго до нашей эры все тот же Аристотель:

«Достоинство женщины составляют в физическом отношении красота и рост, а в нравственном — скромность и трудолюбие без низости».

Именно такой была Евдокия Якимовна, если к тому же принять во внимание, что под низостью у древних эллинов подразумевался черный физический труд.

Евдокия Якимовна сама подбирала в отделе кадров пароходства буфетниц своему капитану:

— Я понимаю, Малыш, тебе придется переносить вредные для мужского организма ограничения, но зато тебя никто никогда не обвинит в том, что буфетница у тебя командует судном. А я, поверь, никогда не упрекну тебя за застиранные рубашки!

Это капитана Зернова устраивало с лихвой.

— ...Д-Дусёныш! — проникновенно прошептал он в микрофон. — Понимаешь, кроме причала, нужна приходная комиссия, а главное — зачет хотя бы по одной трубе.

— Перестань заикаться, наконец! О какой трубе ты говоришь?

— Об одной из тех, что мы привезли... Понимаешь, зачет. До Нового года. Понимаешь? У меня есть...

— Не спеши, все пригодится. И это не телефонный разговор, хотя я говорю с квартиры...

— Почему с квартиры?!

— Малыш, ты забыл. Сервис в наше время поднялся так высоко, что временами его просто не видно. Я выхожу из положения... Сообщи, о какой именно трубе идет речь?

— То есть?

— Малыш, ты привез их тысячи. С какого трюма?

— С первого. Или со второго.

— Конкретнее, Малыш.

— Со второго.

— Хорошо. Я найду тебя здесь через пятнадцать минут.

...Когда Семен Степаныч вернулся в ходовую рубку, «Затонск» поворачивал в южное колено залива, а в туман уже можно было вколачивать гвозди.

Лоцман Гаврила Тебеньков наблюдал в локатор за обстановкой, жевал рахат-лукум и одновременно говорил, манипулируя всеми наличными средствами связи: рулевому: «Одерживай. Так держать!», старпому: «Приготовиться принять буксиры с правого борта», четвертому штурману: «Машине — самый малый!», службе движения: «Уточните, как будет разворачиваться «Дедово», портназору: «Через полчаса высылайте швартовщиков», буксирам: «Каждому становиться на два конца!», рейдовой службе: «Да, это «Затонск» вас на юг проходит», капитану: «А с диспетчером порта, пароходства и «Трансфлотом», мастер, говорите сами!»

Обычный, хорошо отработанный, четкий, определенный необходимыми документами, вход в порт.

Как правило, Зернов, стиснув зубы, бросался в радиокутерьму, хотя и знал, что она тебя изжует и выплюнет только после окончания швартовки, но сегодня он постарался в этой текучке не утонуть; разгребая забитый словами воздух, доплыл до своего локатора, чтоб окончательно не утратить управления войсками. Говорить с «Трансфлотом» и означенными диспетчерами он не пожелал. Решающие данные должна была сообщить жена.

Старпом уже принимал грохочущие под бортом букси-

ры, палубная команда стояла по местам швартовки, когда радист снова позвал капитана к себе.

— Я мигом!

— ...Что такое? — вдруг озаботился пилот Тебеньков. — Что такое?! Что я ем? Эта дрянь — рахат-лукум?!!

На что рулевой Мустафа Мефистоев возразил со спокойным достоинством:

— Рахат-лукум очень хороши. Вы едите капитанский обжевок!

— Что?!!

Изошренным матросским глазом рулевой Мустафа Мефистоев увидел в отсвете радара, как могучий лоцман Гаврила Тебеньков сунул в рот палец, чтоб скovyрнуть с зубов мятый чуингам... Затем Тебеньков мощно хрюкнул, бросился на левое крыло мостика и выдал вниз, в туман, минимум две с половиной смычки очень хороши рахат-лукума.

— Вай-вай, — грустно покачал бритой головой оставшийся в одиночестве рулевой Мустафа Мефистоев, — как дальше плыть?

3

А в лоцманской тем временем шло чтение повогодней поздравительной почты одним береговым матросам, поскольку лоцманов в комнате не было: они трудились сейчас в Мозамбике, Адене, Йемене, Гвинее, Вентспилсе, на Кубе, на переподготовке и в Кольском заливе, и отцы-швартовщики, сплошь пенсионеры, степенно восседали в лоцманских креслах.

Читал, хлюпая насморочным носом и посверкивая очками, дежурный капитан портнадзора Павел Яковлевич Гуськов:

«Дорогие пане-лоцмане! Примите мои самые лучшие пожелания по случаю наступления Нового года! Хочу напомнить вам о себе и рассказать о своей жизни в далеком афро-азиатском порту Тотембэй. День начинается здесь рано. В 5-20 я уже иду на базар, покупаю свежих каракатиц, древесных улиток, бананы и иду домой завтракать...»

— Надо же — тьфу — улиток! — заметил старший смены, ветеран порта и почетный работник морского флота Дмитрий Химитрич, и очки Павла Яковлевича снова блеснули. Павел Яковлевич любил субординацию и дис-

циплину и если читал сейчас швартовщикам лоцманские письма, то только с целью расширить их кругозор: Павел Яковлевич учился заочно в педагогическом институте.

«...и иду на службу. Там меня уже ждут мои коллеги: брат Магомет Яффаи и брат Саид Аль-Раб. К вашему невежественному сведению, здесь все лоцмана друг другу братья. Даже приказы по порту пишут так: «Разрешить нашему дорогому брату Иванову · стоять вахту в ночное время». Или: «Мы делаем самое серьезное замсчание брату Аль-Харби за неправильную постановку судна». Ну и далее. Работа. Что и говорить после КЗ? Мой скромный опыт только подтверждает ту истину, что русский человек может работать с успехом и в Арктике, и в тропиках. Ландшафт — голубая бухта, мангры и все такое. Климат — сейчас, в декабре, как у нас в Гаграх летом. А летом? Об этом напишу в следующем декабре, если останусь жив. Харчи — как вы заметили, не наши, так что мой брезгливый друг Гаврила Тебенков мог бы отдать здесь концы от голода. Насчет выпить-закусить...»

— Х-м-м, — замылся Павел Яковлевич, и простуженный нос его покраснел еще больше, — хм-м...

— Да читай, не лукавь, Яклич, верно?

— Верно-о! — загудели ветераны.

— Хм... «На пароходах подносят холодную кока-колу, реже — пиво, тоже холодное. Рюмку чая — в кои веки раз, да и идет она плохо в этой природе. Так что моему упомянутому другу тут был бы настоящий рай...»

— Пал Яклич, Пал Яклич! — через коридор закричал дежурный портовый надзиратель, — давай сюда, «Затонск» на связь требует!..

— Минутку, — ответил Павел Яковлевич и дочитал:

«...С президентом еще не познакомился. Все дела. Да и живет он от меня далековато... Ну, жму руки, желаю спокойной новогодней вахты и счастливого Нового года! Ваш брат Иванов».

— Ну, орлы, инвалидная команда, — сказал, поднимаясь, Дмитрий Химитрич, — к бою! Ящик здоровый, концы за полмили таскать придется.

По праву самого ветеранного из ветеранов Химитрич мог обращаться к смене и так, и на него не обижались, хотя сейчас предстояла швартовщикам та самая эллинская «низость» — тащить швартовы океанского судна по заснеженному причалу. Работа для трактора, но что по-

делать, если извечно все корабли привязываются к земле обычными человеческими руками, зачастую — не такими уж молодыми... И я как бывший капитан говорю: поклон вам низкий и спасибо, отцы-швартовщики!..

А Павел Яковлевич уже беседовал с «Затонском».

— Портнадзор? Это капитан. Ваш пайлот пьян, и я требую его замены.

— Наши лоцмана не пьют, — корректно ответил Павел Яковлевич.

— Я повторяю: лоцман пьян!

— Как же он пьяный привел вас в тумане на рейд?

— Не знаю. Я сам его привел.

— Кого? Лоцмана? Дайте ему микрофон... Гаврилыч, что там у вас происходит?

— Хотел бы я сам, черт побери, знать! Кормят рахат-лукумом...

— Чего-чего?

— Рахат-лукумом, черт побери!.. Слушай, Пал Яклич, кончай эту волюнку, а то я тут такого натворю!

— Хорошо-хорошо, — быстро среагировал Павел Яковлевич, — становитесь на якорь, будем разбираться. У-ф-ф!

Он вытащил платок, продул нос, поправил очки, задумчиво посмотрел в замороженное до ослепительной белизны окно и сказал вошедшему Дмитрию Химитричу:

— Работа отменяется. Надо подумать, очень хорошо подумать...

Однако сразу очень хорошо подумать Павлу Яковлевичу не дали.

— Портнадзор, так вы поняли? Это капитан «Затонска».

— Что вы еще хотите, капитан «Затонска»?

— Как относительно замены лоцмана?

Павел Яковлевич удивленно вздернул очки, потому что в голосе затонского капитана звучала непонятная надежда.

— Замены пока не будет...

— Так... Так и запишем!

Тут же замигал, запищал, засветился глазок внутреннего селектора. Говорил диспетчер портофлота Бербазашвили:

— Слушай, дорогой! Ты не знаешь, новый год уже начался или нет? В чем дело, а?

— А в чем? — спокойно спросил Гуськов.

— Капитан «Затонска» отказывается подписывать счета моим буксирам!

— А при чем здесь портнадзор?

— Слушай, дорогой, уже весь залив знает, при чем здесь портнадзор!.. У меня запарка с планом, а на вахте два буксира без оплаты! Ты знаешь, сколько времени на часах?.. Я буду...

— Не надо, Вахтанг Давыдыч, — предложил Гуськов, — сначала — разберемся. Не будем портить началству Новый год.

— Нет, дорогой, знаешь, Новый год — для нас не праздник! И я об...

Бербазашвили осекся, а Павел Яковлевич поправил очки, шмыгнул носом и еще более задумчиво посмотрел в морозное окно — в коммутаторе отчетливо слышно было, как вещал репродуктор радиции в диспетчерской портофлота:

— Диспетчер портофлота? Это «Затонск» говорит. Ваши буксиры — пьяные, и я требую немедленно отвести их от борта!..

...Через пять минут Вахтанг Бербазашвили, задыхаясь, извинялся перед Павлом Яковлевичем, и, объединив усилия, они все-таки сберегли своему руководству предновогоднее застолье. Но вал информации, выданной с «Затонска», по надлежащим каналам прокатился с севера на юг по всей Руси и сопредельным союзным республикам, и к двум часам ночи о том, что лоцман Тебеньков и капитаны двух буксиров пьяны, последовательно узнали более трех десятков все более и более ответственных лиц в Мурманске, Москве, Северо-Запад-Юго-Востокске и всех без исключения других базовых портах страны. Одни информировались для принятия мер, другие информировались для информации, а третьи — с целью недопущения подобных случаев впредь.

Первым — что и неудивительно — добрался до своего любимого портнадзора капитан порта Юрий Леонидович Барсов, по внутрилоцманскому любовному прозвищу — «Тигра». Звон новогодних бокалов и корабельных колоколов всех судов с портом приписки Мурманск слились воедино в его твердом полуночном голосе:

— Ну что, фееристы, опять у вас форс-мажорка?! Опять лоцмана?!

Павел Яковлевич, соображая, откуда капитан порта уже «в курсе», отчетливо представил желтые огоньки, оплавлявшие в этот момент телефонную трубку в руке Тигры.

— Наши лоцмана не... — твердо начал Гуськов.

— Довольно феерий! Вы представляете, куда сейчас уже прошла информация?! Почему «Затонск» не у причала?

— Вся вахта, и подвахта, и буксиры, кроме двух, в работе... А вызывать замену из-за праздничных столов... в этой ситуации... сами понимаете — нонсенс.

— А вся эта заварушка — не нонсенс? — хрусталь и медь заметно утихли в голосе капитана порта. — Где этот... громила?

— Кого вы имеете в виду? — кротко спросил Павел Яковлевич.

— Кого... Лоцмана Тебенькова!

— Гаврилыч ждет решения судьбы на «Затонске». Я поеду туда с приходной комиссией. Между прочим, мне показалось, что при последнем разговоре со мной он плакал.

— Что-о-о?!

— Плакал. Расстраивался то есть.

— Гаврила рыдает!.. Хо! — совсем как Тебеньков сказал капитан порта. — Ладно. Слушайте внимательно. Аз Азовича и, главное, Буку Букиевича я беру на себя. А Веди Ведьевичу вы доложите о происшествии, как положено. Скажите, что я буду у себя в кабинете в шесть часов утра. Гм-м. И не спешите отвечать на досужие вопросы. Излишняя информация — тоже дезинформация!.. И доставьте к шести часам утра ко мне в кабинет виновника торжества, кто бы он ни был.

— Хорошо, Юрий Леонидович. Счастливого Нового года!

— Уже осчастливили... — ответил Тигра и хлопнул трубку на аппарат.

4

Семен Степаныч Зернов держался стоически и целеустремленно с той самой секунды, как выбрался из радиорубки на мостик и увидел шатающегося, хрипящего

Гаврилу Тебенькова. Лоцман протянул руку навстречу капитану, и его огромная пятерня сжалась перед Зерновым, словно Тебеньков хотел всего его вобрать в кулак и смять, как жалкий клочок ваты.

— Ну ты даешь, мастер!.. Видишь?!

Из кулака лоцмана текло. Он вытянул вторую руку, и Семен Степаныч разглядел в ладони огромный ком снега. Лоцман сжал второй кулак — тут потекло и из него. Через мгновение лоцман сунул под нос капитану обе ладони:

— Видишь?!

Зернов нагнулся: ладони исходили сухим жаром. Всклипнув от неожиданности, Семен Степаныч тут же понял, что наконец-то загреб изрядный клуб тебеньковского дыханья.

— Ого! Да вы.. Послушайте, да вы пьяны, пайлот! Да, вы пьяны, как... неважно, как! — обрадованно закричал капитан Зернов. — Вот именно, just so!

Лоцман выпрямился, стукнул кулаком в подолок, но Семен Степаныч выпятил грудь и пошел на него:

— Я отстраняю вас-с-с!

...Всего минуту назад вселенная почти было разверзлась под капитаном Зерновым.

— Малыш, — сказала по радио Евдокия Якимовна, — я возмущена, Малыш. Можно подумать, что они тут не только работают, но и отдыхают тут, на берегу этого своего моря... Ты меня понимаешь?..

— Нет, Дусёныш.

— Увы, зачета по трубе не будет... Малыш, найди причину, почему ты сейчас не у причала в этом противном порту. Вескую причину. И не по вине...

— А как же... А как же Новый год?

— Ничего. Продлим разлуку на несколько часов. Производство в этот момент важнее личного счастья, Малыш. Будь предприимчивым и мужественным!

Так было всего минуту назад, но теперь, закусив чуингам, Семен Степаныч неудержимо шел вперед. Судно было поставлено на якорь, капитаны буксиров, попробовавшие бунтовать, — были укрощены так же, как и Тебеньков, и, памятуя раздел «Навигационных рекомендаций»: «...предложения, сделанные на основании неполной информации, могут быть опасными, и их следует избегать», —

Семен Степаныч потребовал медэкспертизы для виновников простоя судна, а старпому и рулевому Мустафе Мефистою приказал написать свидетельские показания.

Все было ясно и явно: пайлот сначала то и дело хватал воздух разинутым ртом, бегал на ботдек и перевешивался за борт, а потом вообще изнемог, ушел в лоцманскую каюту и затих там, и буксиры помалкивали в ожидании мер.

Бегая на мостик для переговоров с берегом, Семен Степаныч попутно обследовал забытую лоцманом на вешалке шубу, но искомого цилиндриконеуса не обнаружил. Исчезновение вещественного доказательства лишь на миг огорчило Зернова — от шубы шел безусловный запах C_2H_5OH : этилового, то есть винного, спирта.

Настроения Семена Степаныча не испортил даже явившийся вместе с комиссией красноносый очкарик, дежурный капитан портнадзора, который вызвал в каюткомпанию помятого новогодней ночью лоцмана и приказал ему при всех:

— Гаврилыч, дыхни! Да не на нос, носом я все равно ничего не учую, а на очки!.. Видите?! Видите — они даже не запотели! Так что...

Семену Степанычу были известны эти автолюбительские штучки, и он, пренебрежительно чавкнув, спокойно подписал акт о двух обнаруженных таможенниками бесхозных номерах «Плейбоя».

Желающих пойти свидетелями в поликлинику оказалось премного, были это все рвущиеся в «Трансфлот», к женам, но Семен Степаныч отобрал из них только старпома и вовсе не желавшего ехать в мороз рулевого Мустафу Мефистою, мудро рассудив, что, давши письменные показания, по устным не плачут.

Ночью дважды выходила на связь заботливая Евдокия Якимовна, сообщала, что дозвонилась до Северо-Западно-Юго-Востокска, что там неудачей с зачетом недовольны, но все действия капитана Зернова по защите интересов пароходства одобряют. Тройка с плюсом.

Густейший туман липко обволакивал окна мостика, хриплые гудки судов едва пробивались до слуха и при этом всякий раз неприятно царапали зерновскую душу, тем более что на душе у него тоже было липко.

«А кто я такой? — думал он. — Всего-навсего капитан крупнотоннажного судна, средне-большой человек. Я не на-

чальник пароходства, не писатель и не директор колхозного рынка. Меня может трести гораздо больше людей, чем трясу я... У лоцмана Тебенькова будут неприятности, но не больше, чем у меня! Мы оба с ним жертвы. Для благополучия нам обоим не хватило всего одной выгруженной трубы... Как! А экипажу? А фирме?! А, может быть, всему министерству?! Может быть, всей стране не хватило отметки о выгрузке одной трубы... Элементарного, ни к чему не обязывающего, зачета. И где же тогда справедливость, если вся эта трагедия должна сваливаться на одного капитана Зернова?»

К утру вышел на связь старпом, доложил, что все жены «Затонска» уже на проходной, что с экспертизой полный порядок и что он ждет в портнадзоре прибытия местных высоких властей.

Затем снова явился на катере красноносый капитан портнадзора Гуськов и вежливо попросил Семена Степаныча прибыть вместе с ним к капитану порта.

— Как же я могу оставить судно в этой обстановке?

— Не возражайте. Кроме Тигры... э-э... капитана порта, вас ждет сам Аз Азович, который будет сообщать о расследовании инцидента наверх. Итак?

— А где мой старпом?

— Матроса я привез. А старпом исполняет свой долг, стережет Тебенькова. Одевайтесь теплее.

Семен Степаныч покосился на демисезонное пальтишко Гуськова, вспомнил лоцманскую шубу и взял свою элегантную, подбитую ветром, куртку.

От причала Павел Яковлевич вел его извилистой тропой между терриконами руды и хеопсовыми пирамидами газовых труб, уходящими из тумана в облака.

— Навигация начнется — все мигом на Тюмень уйдут, — сказал, кивнув на трубы, Гуськов, но Зернов ничего не ответил, потому что ноги его заledenели в чикагских мокалинах с прошвой.

Капитан порта сидел за столом, украшенным букетом вымпелов судоходных компаний, Аз Азович, которого Зернов знал по нескольким совещаниям, посвященным безопасности мореплавания, сидел поодаль в кресле и похлопывал рукой в больших нашивках по журнальному столику, опять же таки украшенному букетом национальных флажков, а старпом стоял навтыжку у дверей. Вид у всех

троих был сосредоточенный.

— Читайте, — вместо приветствия капитан порта протянул Зернову пачку листов. — Вот акты на пробу Рапортта. Вот анализы крови. Читайте!..

Семен Степаныч взял листки, и руки его задрожали.

— Не понимаю...

— Читайте заключение, — сказал Аз Азович, — остальное — для специалистов.

— That is very odd, — прошептал, прочитав заключение, Семен Степаныч, — это очень странно...

— Так вы поняли, капитан Зернов, что мурманские лоцмана не пьют?! — усилил капитан порта формулу Павла Яковлевича Гуськова.

— Что же вы говорите! — в отчаянии прошептал Семен Степаныч.

— Что я говорю? Я говорю то, что говорят официальные документы! А что говорите на весь Союз вы? Старпом, вы присутствовали на анализах лично?

— Так точно, — по-военному ответил старпом, — я уже доложил Семену Степановичу, что с экспертизой все в порядке.

Зернов безмолвно опустил на подставленный дежурным капитаном портнадзора стул.

— Отдышитесь, — сказал, подымаясь, Аз Азович. — Я предоставляю вам возможность — хоть на коленях! — извиниться перед лоцманом и капитанами буксиров. Еще не хватает нам новогодней забастовки! Отдышитесь... Капитан не может быть менее правым, чем лоцман. Я полагаю, произошло недоразумение... без умысла. Всем — до свидания! Надеюсь, Юрий Леонидович, сегодня больше не будет ничего этакого во вверенном вам порту?..

...Когда «Затонск» под проводкой лоцмана Тебенькова швартовался к назначенному причалу, дородная Евдокия Якимовна Зернова лично принимала швартовы вместе с береговым матросом Дмитрием Химитричем, а экспансивные затонские жены, пришедшие встречать мужей, несмотря на мороз, в легких северо-запад-юго-восточных сапожках, кидали на высокий заиндевелый борт яркие оранжерейные цветы.

Тебеньков за всю швартовку не проронил ни слова, кроме необходимых команд. Безропотно подписывая ему

и буксирам кучу квитанций к оплате, Семен Степаныч не удержался:

— Пайлот, теперь все позади... Будьте столь любезны... признайтесь по чести, я ведь сам слышал: булькало!

— По чести?! — воскликнул Гаврила Тебенков, горой нависая над капитаном Зерновым. — По чести дело делают, а не жвачку жуют. Хо! Может, что где в мире и булькало, пока ты не подсунул мне этот долбаный чуингам! Ты мне всю встречу с Венькой Матулайтисом отравил, мастер, р-р-рахат-лукум!

Он сгреб ворох квитанций, сунул их в бездонный карман шубы и, не прощаясь, пошел с мостика вниз. Семен Степаныч безмолвно побрел следом.

Его уже не занимало ни то, куда испарились объяснительные старпома и Мустафы Мефистоева, ни то, зачем столь коварно повел себя при расследовании старпом (впрочем, после слов Аз Азовича о «недоразумении без умысла» он, Зернов, хоть, может быть, и с фитилем, останется на мостике «Затонска», и теперь старпому самому дай бог дотянуть до порта приписки!), ни даже то, с какого трюма будет снята сегодня, первого января другого года, зачетная труба...

Евдокия Якимовна ждала его в спальне.

— Малыш, ты устал? Иди, иди ко мне! Все позади, Малыш. Ты устал, иди, иди ко мне, отдохни.

От нее веяло прекрасным новогодним шампанским «Soviet wine parkling», и она сама сняла с него фуражку мастера Жорниста и погладила по серым, как у старого ежа, волосам.

Через мгновение он, одетый, уже спал на ее коленях, привалясь к ее доброй мягкой груди, вздрагивая, хмурясь и почавкивая во сне субботней «Земляничной» из Нью-Орлеана. Ему снились фантомас, рулевой Мустафа Мефистоев и лоцман Гаврила Тебенков с затерявшейся в огромных пальцах авторучкой фирмы «Салем». Изредка он улыбался: он был счастлив, потому что, как бы там ни было, он выполнил Правила предупреждения столкновений судов в море и действия его были уверенными, своевременными и соответствовали хорошей морской практике...

ТРИ ИВАНА, ДВА ПЕТРА

В семнадцатой каюте их обитало четверо: два Ивана и два Петра. Все они были мотористы. Один из Иванов именовался Бóльшим, другой был просто Иван. Классификации Петров в законченном виде не существовало, первый из них звался папа-Петя, иногда Петя-художник, а второй — Петя-Петюль или Петюль.

Прежде чем пояснять, откуда взялась эта диковинная антропонимия, необходимо сказать главное: каюта, в которой они жили, предназначалась для практикантов, экипажу полагались двухместные, но каждый из Петров и Иванов так привык друг к другу, что возможность быть вместе они предпочли удобствам быта. Такие ребята найдутся не на всяком судне.

Иван Большой был меньше ростом, чем просто Иван. Бóльшим он был прозван за то, что имел привычку говорить в сравнительной степени:

— Что, опять мне большой кусок достался?

Или:

— Подумаешь, американцы! Мы имеем большой подводный флот.

Или:

— Большого сачка, чем ты, Петюль, я не встречал!

Иван Большой всю взрослую жизнь плавал мотористом и всю эту жизнь мечтал выучиться на бухгалтера-экономиста. Подкоечный рундук был у него набит школьными и институтскими учебниками, и, может быть, в бухгалтерских книгах он подцепил свое прозвище.

Просто Иван имел образование четыре класса сельской школы плюс война и до всего дошел своими руками. Руки у него были истинно талантливы и истинно трудолюбивы и мир осваивали не хуже головы. На его плечах были старая мать да двое детей умершего брата.

Фамилия его была Буряк, и поэтому два Петра обычно окликали его дуэтом:

— Бу-у-у...

— ...р-ряк!

Он отвечал им тихой сумрачной улыбкой, стеснялся своих рук, и так со временем образовалось, что фамилия его стала употребляться только для вызова или оклика, а звался он просто Иван. Никаких посторонних предметов в каюте он не хранил.

Петя-Петюль был самый резвый из четверых, но не на работу — и потому выше моториста второго класса не поднимался. Под подушкой у него обычно лежали книги: «Уроки красноречия», «Как стать красивой», «Парапсихология», а из художественной — дамские романы Вероники Дроздовой, сборник детективных повестей «Пулемет для Геракла», спортивный бестселлер «Узда иноходца». В долгие и нудные часы, когда судно дергалось на якоре в какой-нибудь окамененной бухте, Петя-Петюль, задумчиво лежа на койке, рассказывал содержание этих книг, а также «Декамерона» Боккаччо, «Мемуаров» Казановы и «Монахини» Дидро, трансформируя их применительно к условиям судна, плавающего вдоль необорудованного побережья, и делая главными действующими лицами обоих Иванов и папу-Петю поочередно.

Рассказы эти имели успех необыкновенный, и если бы не размеры каюты, контора кинопроката перестала бы получать от нас прибыль, потому что все свободные от вахт, минуя кинозал, устремлялись заполучить клочок территории в каюте номер семнадцать.

И, наконец, последний из четверых, папа-Петя, мастак рисовать, пилить, слесарничать, токарить, чертить, красить, шить, фрезеровать, плести маты из резиновых прокладок к водонепроницаемым дверям, был женат.

Такой осталась в моей памяти каюта номер семнадцать, и всех, кто в ней жил тогда, я любил, хотя должность для любви к ближним была у меня не совсем подходящая — старший помощник капитана, мало того — молодой старший помощник капитана. Мне казалось, что любой безупречный порядок можно навести, математически приложив организацию, требовательность и положительный личный пример, и только много позже, набив себе кровавых шишек, я догадался, что в душах людей существуют потаен-

ные клавиши, которые в приказном порядке не нажмешь, но нужна для этого у тебя у самого живая душа. Спасибо, добрые и недобрые люди помогли, научили.

Долгое время не мог я привыкнуть к семнадцатой каюте: все галстуки у них висели в одном шкафчике, все пальто — в другом, все костюмы — в третьем, а зубные щетки, сплошь одной формы и одинакового цвета, валялись вперемешку в туалетном шкафчике под зеркалом. Доктор на Петров с Иванами махнул рукой, но я-то этого простить не мог!

Я вызывал к себе папу-Петю, который был старшим в каюте, устанавливал его у входа и начинал совмещать воспитательную и разъяснительную работу. Папа-Петя незаметно переминался с ноги на ногу, глаза его весело голубели, хитрые чертики изумления потряхивали бровь, и, наконец, он деловито принимал мои советы и замечания к сведению, обещал подтянуть обоих Иванов и Петюля, смахивал бровью бесенят и говорил:

— Ладно, Степаныч, все будет отполировано. Вы мне лучше скажите: у вас пацан слово «индустриализация» говорит?

— Ему же двух еще нет...

— Так что! Моему полтора, а уже вовсю шпарит!

И папа-Петя подмигивал моему хомячку, который непринужденно, словно кинозвезда, демонстрировал с фотографии два первых зуба.

Папа-Петя понимал меня насквозь и знал, чем сменить старпомовский гнев на милость, тем более что он был еще и Петя-художник. Все надписи на спасательных кругах, шлюпках, пожарных ящиках и шлангах, все трафареты и все особо тонкие малярные работы делал он лично. Старший механик косо смотрел и на папы-Петины художественные достоинства, и на их практическое приложение на судне, а потому мне удавалось залучить папу-Петю к себе на палубу только по светлым христовым дням или же солнечной заполярной ночью. Сотрудничество это основывалось на добровольных началах, и чего только не пришлось пережить моей младостарпомовской надменности! Но зато пароход у меня бывал не только чисто и с тщанием покрашен, но и аккуратно промаркирован, пронумерован и проштемпелеван в полном соответствии с руководящими документами. Кто плавал, тот знает, как это важно: иная вовремя и к месту нанесенная надпись спасает

от бездны неприятностей, лишь бы только железо под ней не прохудилось чересчур очевидно.

Вследствие всех этих причин папа-Петя имел в каюте рундук, вмещавший средства выражения всех его многообразных талантов, и именно в этот рундук во время санитарных обходов я старался не заглядывать. Вообще же, если не считать обезличенных зубных щеток, порядок в семнадцатой каюте был относительно неплох и чистота поддерживалась всегда, исключая разве те дни, когда приборкой по графику занимался Петя-Петюль.

Этот Петя был розов, круглолиц, долговяз, мечтателен, ленив на движение, и Петюлем стал при следующих обстоятельствах.

Обоим Иванам и папе-Пете надоели его популярные эротико-парапсихологические рассказы, и тогда они начали посылать ему письма и записки якобы от жены второго механика, в которую Петя был подпольно влюблен. Эти настоячивые письма так взвинтили Петину страсть, что в рейсе он решился дать согласие на ответственное свидание, и поскольку женщина в последних письмах к нему иначе как Петюня, Петюля не обращалась, то и он пылкое свое послание подписал: твой Петюль.

Это письмо у Петюля было выужено и приколото у двери каюты, в то время как он подогревал вдохновение перед очередным сеансом из походов Ивана Большого в роли Казановы.

Разберясь в конце концов, в чем дело, Петя-Петюль долго и искренне плакал, и просто Иван, как самый старший по возрасту, просил у него за всех троих прощения, гладил его по стрижке огромными своими клешнями и сокрушался искренне:

— Злыдни мы, до чого вбылы дытыну!..

История эта имела неожиданный резонанс, потому что у второго механика с юмором было не того, а папа-Петя слишком талантливо скопировал почерк его жены. Впрочем, поставьте себя на место механика и проверьте, как будет с юмором у вас.

Такая ситуация сложилась в семнадцатой каюте к моменту нашей постановки в средний ремонт.

Средний ремонт — это когда все делается серединка на половинку, когда ваш средний заработок подрывается не так капитально, как в капитальном ремонте, но когда вы все же стараетесь, чтобы ваши текущие расходы были не

столь стремительны, как в текущем ремонте, ибо до конца срока может и не хватить. Тем более что срок выхода из ремонта будет еще много раз отодвигаться и переноситься: завод при сем действует как рельсоукладчик — сам под себя подкладывает рельсы и сам же идет по ним дальше.

Одним словом, команда в таких случаях старается на судне не задерживаться, остаются патриоты, женатики, по которым жены соскучились больше, чем по заработкам, заочники и те, кому не позволяет сбежать положение. Последним, как и положено, покидает судно капитан. Он уходит весной на отгулы, летом в отпуск, осенью подменяет другого капитана, зимой учится на курсах повышения квалификации, весной появляется на судне, начинает вращаться в обстановку, к концу второй недели осознает, что с прорабами лучше не связываться, и, устроив прощальный банкет для старшего комсостава, убывает снова, отечески напутствуя старпома:

— Ты давай тут, смотри!

В ремонте капитанское перемещение по годовому циклу столь же неотвратно, как движение Солнца по эклиптике, и старпому остается лишь с языческой грустью различить солнечное мерцание капитанских регалий за проходной, перед легкой дверцей такси...

Однако речь идет не о моих переживаниях, и вообще сначала нужно стать в ремонт.

Мы выпарили топливные танки и выпроводили треть команды, а другая треть охотно сбежала сама, но семнадцатая каюта осталась в полном составе: позарез нужны были золотые руки просто Ивана и разнообразное мастерство папы-Петя, ибо уже из результатов предварительной калькуляции сложился на заводе девиз нашего будущего ремонта: «Так себе изнашивалось — так себе починим».

Иван Большой был оставлен на судне как рачительный носитель нравственного начала, а Петюль, несмотря на категорические протесты второго механика, — за компанию, чтобы не распалось их выстраданное на вахтах и в увольнении единство.

Позже папа-Петя признался мне, пошевеливая белесой бровью:

— Ладно, Степаныч, вы думаете, я бы сам ушел? Сам бы я не ушел. Тети-мети — это много, но не все. Кое-что другое держит. Вот если бы списали меня, тогда и говорить нечего, отстаивать себя я не стал бы. Честь, Степа-

ныч, как юмор, — или есть вообще, или нет.

И он, как обычно, подмигнул моему сынку на фотографии, а у сынка к тому времени зубиков было полно...

Мне понадобилось зайти в каюту как раз тогда, когда мы прогуливались по заливу, предъявляя заводской комиссии механизмы в действии. Меня поразила болтавшаяся на крючке у входа кепочка не более чем двадцать пятого размера с заливчатским детсадовским козырьком.

— Это что такое? — спросил я Ивана Большого, который обкатывал над умывальником кусок хозяйственного мыла.

Иван отложил мыло, прикрыл смеситель, ласково посмотрел на меня:

— Это Ванечкина шапочка.

— Какого еще Ванечки? — с непонятной тоской спросил я.

— Крестника нашего.

— Чьего?!

— Моего и Ивана.

«...Ну вот и началось, — подумал я, — козыречки, кепочки, детские пеленки, жены со всей России понаедут, малярши с чертежницами снова начать начнут, и пойдет порядок по рукам... Нет уж!»

— Для чего ты из мыла яйцо делал?

— Большой интерес ручки мылить, забава. Пока балуется Ванечка, ловит, ручки чистыми будут.

— Силен! — сказал я. — А где сам-то?

— С папой-Петей вахту стоит.

Вот так. Спрашивал про отца, а тебе — о сыне!

Административная неудовлетворенность объяла меня: первый же посторонний человек был водворен на судно без моего ведома, чего еще ждать дальше? Объяснения требовались немедленно, и я бросился в машину...

В железном высоком ящике с ветошью и обтиркойazole грохочущего и чихающего сжатым воздухом главного дизеля сидел мальчишка лет двух в зимней шапке с завязанными под подбородком наушниками и играл надраенными медными вентилями.

Папа-Петя стоял у реверса, поглядывая то на сына, то на указатель машинного телеграфа.

— Кто разрешил?! — прохрипел я.

— Капитан, — выждав момент стопа, ответил папа-Пе-

тя, и в глазах его замельтешили остренькие рожки и копытца.

— По каютам распределяет старпом!..

Тут рывкнул колокол громкого боя, затрещал телеграф, засветилась красная лампа, и папа-Петя артистичным толчком послал двигатель на задний ход. Затихли звонки, погасли лампы, и я отошел к ящику с путанкой, чтобы не отвечивать перед комиссией, которая собралась проверить работу реверсивного устройства. Папа-Петя и в этом деле был мастер, так что стармех доверял ему у реверса больше, чем самому себе. Со сложным чувством глядел я на этого разгильдяя, когда он священнодействовал у пульта и махина главного дизеля по требованию комиссии то замирала, то бешено билась на самых полных ходах.

Третий Иван спокойно складывал и раскладывал вентили, не делая никаких попыток выбраться из ящика с паклей.

— Как тебя зовут? — спросил я, пощекотав ему подбородок.

Он посмотрел на меня одним глазом, с достоинством отвел голову, и мне показалось, что розовая бровка его запрыгала по-отцовски.

— Но-но, — сказал я, — ты не очень-то!..

— ...А это наш старший помощник, — объяснял за обеденным столом стармех. — Неплохой старпом, но, к сожалению, скоро от нас уходит. Будет работать завдетсадом...

— Это на Новом Плато? — заинтересовался инспектор Регистра.

— Вот-вот.

— А я слышал, из «Ромашки» туда переводят...

— Что вы! Баскомфлот специально этим занимался, решили его. Сами видели, дети для него — все, в машинное отделение за ними лезет...

Вот до чего стармех ревновал папу-Петю!

Но дело было сделано: с благословения капитана в семнадцатой каюте стало три Ивана и два Петра. Семейные обстоятельства, приведшие к этому, папа-Петя объяснил так:

— Ладно, Степаныч, об этом не будем. Прямого отношения к маркировке шпангоутов это не имеет. Может, все перемелется, тогда милости прошу на именины, а нет — с Иваном не пропадем. До отпуска доживем, к бабке съез-

дим, там видно будет.

— Слух бы ему поберег, таскаешь в машину...

— Я ему ватой ушки затыкаю, а потом малахай завязываю. Что же делать — не хочет без меня оставаться. Я его для начала у «Черта» потренировал.

Вряд ли существует на белом свете механизм шумнее, чем двигатель «4Ч», «Черт» — по-флотски. Отсек, где он установлен, — это сурдокамера навыворот, и мальчишке такие испытания ни к чему.

— Еще три няньки в каюте, составьте график...

— Да он пока только на Петюля клюет, а с крестными, с Иванами, дело туго продвигается. Обидно.

— Ничего, привыкнет...

Привык третий Иван, стал своим. Вскоре появился у него и коллега, ученик матроса пятилетний сын поварихи Артур Барабанов, да и вообще семейственность пустила на судне за время ремонта два-три трудновыкорчевываемых корешка.

Короче говоря, ремонт во все внес свои сложности.

Побледнел и стал малоразговорчивым Петя-Петюль. Хотя в машинном отделении он обходил второго механика с другой стороны дизеля, механик держал его под непрерывным надзором и даже сделал свой контроль автоматическим, составив такой график вахт, при котором Петюль мог бывать на берегу только тогда, когда на берег сходил сам второй механик. Петюль отводил душу разговорами с третьим Иваном, но замолкал даже при его родном отце, а из книг стал читать только техническую фантастику и справочники для механиков-паровиков, механиков-дизелистов и механиков-универсалов.

Иван Большой поступил-таки на курсы бухгалтеров, учился истово и терпеливо, начал тщательнее мыть руки, перед грязной работой стал надевать рукавицы: негоже ласкать счеты и охаживать арифмометр заскорузлыми пальцами. Попробовал он вывести и юношескую татуировку на правой руке — не получилось.

Просто Иван просто работал.

К концу этого среднего ремонта суждено было распасться их компании, но, прежде чем они разошлись в разные стороны, они успели сделать друг для друга все, что могли. Особенно повезло папе-Пете.

Дело в том, что слава о его талантах достигла даль-

них пределов заводской территории и участь многих художников начала подкрадываться к нему, смущая посулами легкого хлеба и вина.

Первым посланцем искушения явился боцман с «Ирбита», который околачивался у нас трое суток, однако он, видимо, был недостаточно тонок и не смог заманить папу-Петю.

Беретистый старпом с «Красноярска» был искусителем со стажем и потому напросился к нам на экскурсию. Он облазил все палубы и помещения, поводя тонким носом на надписи, цифры и условные значки, подергивая и подрагивая при этом усиками, словно принюхиваясь. Он успешно вручил третьему Ивану большую плитку заграничного шоколада, но потерпел фиаско, потому что возникший как из-под пайола ученик матроса Артур Барабанов был по мужски конкретен:

— А мне?

К стыду «красноярского» старпома, второй шоколадки не нашлось, но неудача не обескуражила его. Папа-Петя был перехвачен где-то за пределами судового гравитационного поля, обработан в парах армянского коньяка, и в результате третий Иван в течение нескольких восхитительных летних мурманских вечеров убывал на пикник в городской сквер в сопровождении Петюля или просто Ивана, потому что папа-Петя самым постыдным образом подхалтуривал на покраске и трафаретах у беретистого старпома.

Мы со стармехом спохватились, но уже невозможно было объявлять о товарищеской взаимопомощи, обмене опытом и кадрами, а папа-Петя втянулся в работу по легким контрактам, и портфель заказов у него не скудел...

— Ладно, Степаныч, не будем. Разве я плохо работаю? А что сверх того и на стороне — так это мое личное дело!..

— Мне тариф твой не нравится, и третий Иван без надзора...

— Тариф нормальный, только с закуской. А с Иваном через неделю-другую в отпуск поедем. Там все отполируется...

Брови у него не веселились, и набухал, как у женщины перед слезами, нос.

— А как же честь?

— Честь, как деньги, есть так есть, а нет — так нарисуем... Людям помогать надо, они ведь тоже советские, а?

Папа-Петя, как всегда, подмигнул моему сыну, но мне показалось, что сынок в ответ показал ему язык.

— Чтой-то не то... — сказал и папа-Петя.

Через несколько дней очередной искуситель скатился по трапу на причал, шипя на ходу, как проткнутый резиновый кранец. После того как он шмякнулся об изъеденный железом и автогеном бетон, я решил полюбопытствовать, что происходит с папой-Петей.

Папа-Петя лежал на койке лицом к стене.

— Ну, что происходит?

Он кое-как поднялся и обратил на меня нездешние глаза.

— Ну?

— Ладно, Степаныч, не надо нукать, вы меня не запрягали. Не могу я сегодня с вами беседовать...

— Так. А сын где?

Папа-Петя безмолвствовал.

— Сын где, спрашиваю?

— Вы об этом у Иванов с Петюлем поинтересуйтесь.

— Ну что же, придется!

Я вспомнил, что последние два дня третий Иван действительно под ноги мне не попадался.

Обоих Иванов не было на борту, но поскольку по машине дежурил второй механик, извлечь на ковер Петю-Петюля удалось почти моментально.

Петюль долго маялся, вздыхал, рассматривал потолочные светильники и, наконец, оглядевшись по сторонам, спросил шепотом:

— А вы слово дадите, что об этом никому?

— Даже прокурору?

— Ага!

— Тогда даю.

Петюль еще раз оглянулся, потрогал, закрыта ли дверь, и нагнулся ко мне:

— Мы постановили: папу-Петю материнства лишить! И забрали Ванечку.

— Что такое?! Это же не игрушка, а ребенок!

— Потому и постановили. А то что же, — заторопился Петюль, — он шабашку сшибает, сын в загоне, судно по боку, мы... — Петюль блеснул очами, — мы для него пустое место!

— Он же отец! Вы гляньте, как он...

— Страдает? Ну и пусть страдает! — высвистнул Петюль, потом подумал немного и добавил с печалью: — Странствие очищает...

— Так. Где и с кем находится ребенок?

— Просто Иван мать привез пожить, пока в ремонте. Она и приглядывает... Ну и мы по очереди ходим, Иван Большой даже занятия пропустил.

— А он что?

— А что он? В лимонаде купается, на шоколаде спит... — ответил Петюль и вздохнул.

Все стало на свои места.

Еще дня три папа-Петя выдерживался на коротком буксире, но когда за ужином он пригрозил, что кого-нибудь сегодня гаечным ключом уговорит, решено было допустить его к сыну...

Хотя на именинах у них я так и не побывал, знаю, что папа-Петя другой мамы третьему Ивану не нашел. Работает он на берегу, мастером трудового обучения в строительном ГПТУ, так что, если у вас в новой квартире все наперекосяк, знайте, что работали у вас не его ученики. Иван третий кончает начальную школу, пишет аккуратно, как Иван Большой, старается, словно просто Иван, говорит звонко, складно, — весь в Петюля.

Сам Петюль пошел в гору. Нашего второго механика назначили стармехом на хорошее судно, он и предложил Петюлю вместе в море идти от греха подальше. Петюль отказался. Механик попереживал, поприкидывал и предложил Петюлю должность старшего моториста. Петюль согласился. Теперь он уже старший механик.

По утрам в восемь двадцать к остановке троллейбуса у драмтеатра приходит дьяхан в шляпе, теплых ботинках, при портфеле, с именной монограммой. По татуировке на правой руке вы узнаете в нем Ивана Большого.

Ну и, наконец, вы сами видели у меня в каюте кубок южных морей и ключ от экватора. Ювелирно сделаны, правда? Их выточил в рейсе просто Иван.

ЛЮБОВЬ ДО НОРДКАПА

Рита Князькова не появлялась наверху от самого Измаила, и потому матросы, спешившие под полубак, замерли все разом, увидев ее, закутанную в полубак и в небывалом сопровождении: Риту тащил под локоть сам капитан.

Стояло туманное холодное утро, мокрая палуба елозила под ногами, и матросы, вжимая в железо подошвы, задрали подбородки, наблюдая, как управляется с буфетчицей Николай Павлович. В бортовом проходе было тесно для этой пары, и выручала их только нейлоновая капитанская куртка: стеганая ткань со свистом скользила по фальшборту.

Капитан прислонил Риту к углу надстройки, глянул вниз круглыми глазами, и толстые усы его запрыгали:

— Вы что, орлы, всё на разминке! Живую буфетчицу впервые видите? Боцман их ждет, а они... А ну!

Приказ достал матросов в спину, они повернулись к баку сразу после первых капитанских слов: кому же охота попадать под крутую руку хотя бы и отца родного!

Капитан пятерней придержал падавшую на него Риту, потом взял ее под мышки, проволоч до лебедочной площадки.

— Ну вот, здесь, на ветерке, и посидишь. Дыши как следует, куда голову прячешь? И учти, у меня ни одна девка дурака не валяла! Какая еще тебе качка? Нет качки. И не гляди на горизонт, на море гляди и с ним соревнуйся: кто кого! Понятно?

Рита смотрела на него такими порожними глазами, что Николай Павлович наклонился и зашептал ей в лицо:

— Ты меня не позорь, Маргарита! Ты сама посуди, разве можно капитану судовых девок под ручку таскать? Посиди часок, пока солнце туман не разогнало, чаю с черным

сухарем да с сольцой выпей — и работать! И никаких чтобы голодовок! Туда же, укачиваться... Сиди! Сиди.

Николай Павлович похлопал Риту по спине, выпрямился:

— Смотри у меня!..

Затих за углом надстройки шелест нейлона. Рита осталась одна и услышала, как до дурноты монотонно стучит судовая машина, и так же монотонно всплескивают волны, и в такт им зябнувшие под полушубком плечи приваливает то к железным прутьям ограждения, то на другую сторону, к металлической коробке с рычажками, и эти отростки парохода не дают ей падать, заваливаться назад и набок, озноб проходит, и при каждом наклоне слышно, как сминается, пружинит мех полушубка, доносится запах овчины, расслабляющий запах детства, и глаза закрываются сами собой, но ведь она не спит, потому что слышит свое тело, измученное трехдневной голодовкой, — и тогда Рита с ужасом чувствует, как сжимается в ней желудок и стягиваются какие-то петли, и пухлый противный комок подкатывается к горлу, и приходится, чтобы не умереть, открывать глаза.

А в глазах — все то же туманное море, но туман уже отодвинулся к горизонту, и потому не так страшно, не так неожиданно выкатываются из-под него волны, и потому, конечно, на мостике выключили раздиравшие воздух туманные гудки. Впрочем, кажется, это было раньше, еще до того, как Николай Павлович зашел к ней в каюту. Да, раньше, она успела даже подумать: «Слава богу, выключили!», потому что рвущийся через каждые две минуты звук больно дергал волосы на затылке; она все хотела перевернуться на спину и втиснуть затылок в подушку, но не хватало сил, а может быть, тело само берегло вековую женскую позу — лицом безутешным в ладони, с опавшими плечами и сдавленной грудью.

На спине лежа, иногда, бывает, плачут, но рыдают лишь лицом вниз, а Рита именно рыдала, не осознавая, что слезы давно кончились, как не было уже ни слюны, ни желчи, чтобы хоть чем-то помочь тому, что рвалось из нее наружу. Ох, тяжело доставалось ей море!

Разве таким оно было, когда ехали всем экипажем на приемку в Измаил, и задержались из-за билетов в Одессе, и загорали вдалеке от порта: оказалось, было такое место,

где жили знакомые ребятам люди и где пляж был не очень — но зато море! Рита никогда не видела такой счастливой воды. Это было совсем не то море, которое мерещилось, когда она, не поступив в институт, с дрожью в сердце ожидала визы на кухне в торгмортрансовской столовой.

До звона в ушах накупавшись там, на даче, половина команды отказалась ночевать в ДМО или на вокзале, пили похожее на газированную воду вино и спали вповалку на террасе, а Рита с кокшей Татьяной Викторовной — вдвоем на одной постели в доме, и с вечера жгло Риту голое поварихино плечо. Проснулась Рита под утро от треска рвущейся ткани: это Татьяна Викторовна раздевалась, стоя у окна, такая же бледная и тихая, как поступающий к стеклам рассвет. Потом она села на табуретку, уронив руки в кружевца короткой рубашки, и Рита испугалась ее холодного успокоенного лица и незнакомого запаха, исходившего от нее, и осторожно вытащила из Татьяниной прически соломинку.

Наутро народ интересовался, как им спалось, но море, когда купались, выглядело по-прежнему чистым, светлые волны накатывались полого и неторопливо, и все вдали было еще более смутно, чем на душе.

Ребята орали, выкидывали коленца не хуже цирковых акробатов, и Риту поразило несоответствие между утренним человеческим шумом и тихой неторопливостью моря, и тогда ей как-то печально подумалось, что морю-то что, морю спешить некуда...

Раньше ничего подобного никогда не лезло ей в голову, да и потом ей всего лишь однажды захотелось подумать серьезно, когда через два месяца они выходили по кофейно-молочному Дунаю в море и остались уже позади зеленые берега с виноградниками и шелестящим понизу тростником, и вот там, где речная вода разливалась по синеве, там, где на границе двух вод радостно возникли навстречу пенные ослепительные гребешки, мелькнуло в сознании, что они такие же и здесь, на реке, только не видны из-за переполняющей их мути, и... Но додумать Рита не успела, потому что судно дернулось навстречу первому морскому гребню, томительно зависло, потом упало набок и ее окатило бьющими больно, словно град, плотными и крупными брызгами, а затем изнутри потянуло, словно за ниточку, пухлый противный комок, и Рита побежала, облепленная

ветром, в надстройку и не вставала до той минуты, когда ею занялся сам Николай Павлович.

Правда, на второй день рейса, в забытьи, Рита явственно увидела ломоть домашнего каравая и почувствовала, что сможет, вообще-то, поесть, проснулась и сползла с койки. В иллюминаторе тянулись какие-то склоны с желто-серым кустарником и пыльными прокаленными развалинами. Казалось, оттуда пышет полыньио и сухим навозом. Рита посмотрела на этот беспросветный берег, обозвала себя мямлей и, стиснув зубы, опять полезла в койку. Она решила дотерпеть до конца, тем более что берег в иллюминаторе скоро кончился и возобновилась качка.

Ее пытались расшевелить, даже Татьяна Викторовна прибегала поначалу, и уж на что все остерегались зазубренного, словно овощной нож, старпома Джохадзе, но и тот отступился после третьей попытки, хлопнул об каютный стол таблеткой азрона — блески полетели, яростно пропиел, почти позабыв свой кавказский акцент:

— Слушай, зачем мне с тобой возиться! Ты знаешь, что у нас доктора нет?

— Знаю...

— Так вот, мне акт о твоей смерти подписывать надо. Умирать будешь — приду! Так что лучше, пожалуйста, не умирай, я тебя предупредил!

Засим старпом прямо на мостике, при смене вахт, доложил Николаю Павловичу, что им все меры воздействия исчерпаны и потому он умывает руки от этой Риты, «хотя, послушайте, Николай Павлович, вы ей очень даже чрезмерно...»

— Давай-ка не так прытко, старпом — проворчал в ответ капитан, — прежде всего — подход к людям!

Джохадзе пожал плечами, и Николай Павлович, сплюнув в сердцах, отправился, как только поредел туман, вниз, наказав вызвать себя немедленно, если появится на экране радиолокатора опасная цель: здесь, за Дарданеллами, всяких встречных-поперечных было хоть отбавляй.

Николай Павлович действительно добр был к Рите еще с той минуты, когда встречал у проходной свою команду и девочка эта ойкнула разочарованно, поведя глазками вслед за приглашающей капитанской рукой:

— Ой, какой корабль разобратый!

Судно и в самом деле было несообразным — не судно, а чемодан: без трубы, с мачтами, уложенными вдоль бор-

тов, и надстройкой, стоящей на третьем трюме, каким приволокли его в Измаил из Будапешта под дунайскими мостами.

Долго волокли: сначала опоздали к таянию снегов в Шварцвальде, и вода по Дунаю кое-где стояла слишком низко, а на другой год, по весне, пришлось переждать паводок, ибо судно не пролезало под мостами даже в упакованном виде.

И поржаветь успели.

По душе пришлось капитану, что новенькой буфетчице так безразличен вид ее будущего парохода, словно она бездомный матрос. Через месяц Николай Павлович, можно сказать, полюбил Риту, не так чтобы очень по-мужски, годы не те, и не так чтобы очень платонически, просто напоминала она ему собственную невестку.

Привык Николай Павлович сживать с хорошими людьми, радушием был славен и потому всякий раз с удовольствием наблюдал, как верстает Рита стол и какие у нее при этом бережные руки да с божьей искрой глаза.

Столы подобные, признаться, выставлять приходилось, потому что из-за прошлых годов препятствий накопилось на крановом и судостроительном заводе в Венгрии много судов и монтаж их в Измаиле не всем вмещался в план.

«Как две капли... — сравнивал Николай Павлович, взглядывая на Риту. — И за что той с моим бульдогом веревку вить?»

Сына своего Николай Павлович, стыдясь, с каждым приходом в Союз разглядывал все внимательнее и не любил все больше. Хотя и предприимчивый вышел парнишка, не оказалось в нем желанной доброты, юлил, жизнь кусками выхватывал, не брезговал на перекладных кататься, высокое и мелочь будто ощупывал осьминожьими плавными пальцами, приценивался жестко, словно к обновам, какие привозил Николай Павлович ему, невестке и внуку.

«Тьфу, посмотрела бы Маша, бедная, кого мы с ней в самый жар зародили!»

И крутил Николай Павлович при этом короткой шеей, водил подбородком по вороту белоснежной рубашки, морщась, словно было у него раздражение после бритья.

Глядя на невесткину жизнь, Николай Павлович не выдержал, сказал ей однажды:

— Просмотрел я сына, однако, теперь такого не перелопатишь. Брось ты его, Елена, да найди себе по совести

человека. К тебе шмотье не липнет.

Невестка глянула понимающе, но ответила:

— Нет. Я его и такого пока что люблю.

Потому и Риту жалел Николай Павлович, что улавливал в ней что-то схожее с грустной твердостью невестки, и словно бы при этом он сам был перед ними обеими виноват...

Стоя у открытого окна рулевой рубки, оглядывая раскрывающееся море, втягивая запрокинутыми ноздрями солоноватый воздух, Николай Павлович нет-нет да и косился вниз, на ссутуленную фигурку в полушубке, и всякий раз фыркал.

Он дождался, пока туман не отошел окончательно далеко, хмуро оценил вахтенную смену, велел перевести машину в морской режим, скомандовал полный ход, а потом спустился к себе, вместился в привычное угловое кресло, с хрустом распрямил ноги.

И на черта она ему далась, эта буфетчица, чтобы он с нею тут, в архипелаге, маялся! У него что, своих дел, поважнее, нет? Совсем стареть начал, в сантименты, понимаете ли, вдался...

Николай Павлович засопел, и тут как раз в дверь чутко постучали и вошла Татьяна Викторовна, поигрывая искрящимся ножичком из нержавеющей стали.

— У меня к Вам необычное дело, Николай Павлович, я Вас давно поджидаю. Позвольте? Ваши полегче.

Николай Павлович кивнул, без интереса наблюдая, как повариха усаживается на диван, откладывает в сторону ножик, разглаживает чистый цветастый воротничок, прикуривает и, не оправляя расстегнувшейся джинсовой юбки, закидывает ногу на ногу.

Красивое поварихино лицо не по ней строго, но курит она, как обычно, жадно, и капитан выдержал первые затяжки.

— Ты вот что, Татьяна, ты колени убери, меня этой деталью не проймешь.

Татьяна Викторовна равнодушно сменила позу, но от этого ноги ее не стали менее вызывающими, и Николай Павлович рассердился всерьез:

— Если по делу — говори, Татьяна. Очень уж ты роскошно все обставляешь. Давай короче.

Повариха придавила в пепельнице сигарету.

— Вы знаете, Николай Павлович, что с Ритой?

— Хм, с тобой не бывало?

— Бывало. Но Вы знаете, что с ней?

Николай Павлович давно заметил, что в побледневших устах Татьяны Викторовны слово «Вы», когда она обращается с ним к капитану, звучит с очень большой буквы.

— Так Вы знаете, Николай Павлович?

— Не тяни.

— У нее нездоровье... А, беременная она! И хочет, чтобы это... Чтобы выкидыш начался. В Грецию, мол, или в Италию по дороге завернем. Врача, мол, не прислали, а помощь все равно потребуется. Вот и голодает, глупая... Вы молчите?

Николай Павлович сопел, уставясь в поварихины сухие глаза и постукивая по столу ребром ладони.

— Вы молчите? — повторила Татьяна Викторовна.

— Как же мы девчущечку проморгали? Сама ведь ребенок еще... Дело чье?

— Был один, да Вы его — как же! — вовремя с судна списали... — ответила кокша и снова потянулась за сигаретой: — Позволите?

— Кого? Радиста? Так ведь он — женатый!

— Ах, Николай Павлович, подумаешь, открытие! Впервые про любовь до Нордкапа услышали?

— А ты-то куда, куда ты-то смотрела? Ты-то это понимать должна! Тридцать лет — и который год на море!

— Что Вы, Николай Павлович! Я сама на нее поспорила. Мол, не про тебя эта девочка. А он еще подлец оказался... Проспорила я, Николай Павлович!

— Креста на тебе нет, Татьяна! — убежденно сказал капитан.

— Нет креста, Николай Павлович, — ровно, словно ногу на ногу перекинула, ответила повариха. — Нет креста, и не знаю теперь, когда будет!

И всхлипнула.

— Молодец ты, — приподнимаясь с кресла и всматриваясь в нее, протянул Николай Павлович, — а ну подними лицо, ты что же это глаза-то опускаешь? Водицу убери! Твоим слезам и Москва сейчас не поверит. Где душа у тебя, чтобы на человека спорить?

— Ну зачем Вы так громко, Николай Павлович? — шепотом спросила повариха.

— Вон что! А мата моего ты по этому поводу не хочешь услышать?

— Нет, не хочу, Николай Павлович, — быстро зашептала Татьяна Викторовна, — не хочу, не надо, я хочу, чтобы Вы помогли, миленький Николай Павлович! Вас все уважают. Она Вас уважает.

— Уважает, уважают! Зажужжала! Я что, акушер? Да мне пароходство такого дурного захода ни в жизнь не простит. В Италию ей!.. У нас один плановый заход — в Гибралтар, да и тот с трудом выбит. Уж, наверное, знаешь, что такое большой каботаж и вообще — перегон!

Николай Павлович передвинулся по каюте туда и обратно, и Татьяна Викторовна снова стала сама собой.

— Я все сказала, Николай Павлович, а решать — это Ваше дело, капитанское. На меня и цыкнуть можно... Разрешите, я на камбуз, мне народ кормить надо. Одна работаю, к вечеру с ног падаю. Разрешите?

— Погоди. Этот, срок, черт побери, какой?

— Так посчитайте — самое время.

— Что ж до отхода-то не заявила?

— Я, можно сказать, не знала. А она... Кому же охота визу терять?!

— А! — дернул плечом капитан, и Татьяна Викторовна скользнула в коридор.

По упругому цветному линолеуму она прошла на свой чистенький, изящный, как в кино, камбуз, где негромко стрекотала вентиляция, тянуло духом пшеничной корочки из электропекарни и врассыпную бегали жизнерадостные зайчики от посуды. Коричневые и желтые метлахские плитки палубы были такими теплыми, и оттого, что она ступала по ним такими стройными, такими легкими ногами, в удобных туфельках, такая здоровая, такая ничем не обремененная, не подверженная ни качке и ничему неясному в жизни, — Татьяне Викторовне стало худо. Она вспомнила Риткино дурное, с остановившимися глазами, лицо и даже позавидовала ей, потому что Ритку все еще ждало, может быть даже очень страшное, а ее-то даже страшное ждать не будет. Чего там говорить? Ребенка своего у нее не будет, значит, мужика по гроб своего не будет, то есть креста своего не будет, и страхов никаких не будет. Господи, а что будет-то?

Татьяна Викторовна швырнула ножик плашмя в посудомойку, достала из нагрудного кармашка сигареты.

Когда-то по юности и она страдала не хуже Ритки, к себе прислушивалась, боялась шелохнуться, а иногда совсем такое подступало, что даже дышать невозможно. Только было это на берегу, где любая медицина под боком, и не надо было придумывать никаких голодовок, и потом, когда забылась покаянная тоска, она решила, что это выскребли лишь на время из тела, но оказалось — ушло это навсегда из жизни. Так же, как и юность ее ушла.

А ведь то, каким был человек в юности, — и есть его подлинная душа.

— ...Да, если кто и дрянь на белом свете — так это я, — сказала себе Татьяна Викторовна, захлебываясь сигаретой, — до того оподдела!

Она подумала о Ритке, которую там, на виду у экипажа, в субтропиках, колотит под полшубком озноб, и у нее вдруг зашипало в носу от сигаретного дыма.

— А, наплевать, бабьи штучки! Дозволяется не чаще раза в год, — прохрипела она и бросила окурочек туда же, где, как рыба, светился под слоем воды нож. — Хоть бы старик помог! Он, если захочет, все сможет.

Но вот как раз этого Николай Павлович пока и не может. Он приткнулся к тесному каютному окошку, в котором качается Средиземное море, колыбель народов, отчетливо виден поднимающийся и опадающий горизонт. Табачный дым облизывает бугристый загривок капитана, и лет Николаю Павловичу столько же, сколько Рите и поварихе, вместе взятым, но сердце у него не болит, или он умеет это скрывать, и в жизни он видел все. А состариться не успел, не хватило равнодушия, чтобы стать старым.

Откровения Татьяны Викторовны не по нему. И вот приходится не торопясь выкурить сигарету, определить верный шаг, потому что это не тот случай, когда можно поговорить ласковым матом, как с матросом, и тот поймет. Да и что именно понимать ей надо? У нее, ни много ни мало, жизнь на переломе, и, конечно, самый простой выход она себе быстренько, хоть и замысловато, надумала. А что ей остается?.. Любовь до Нордкапа, как на Севере говорят. До Скрыплева — на Дальнем Востоке. До пикета, до сто четырнадцатого, — по-ленинградски... Хм. Свистульки!

...Из Венгрии вниз по Дунаю тащили их счаленными намертво, борт о борт, с индонезийской «Каримундьявой»,

и пришлось наглядеться, как шустро меняли индонезийцы прибрежных румынских девчонок от буксира до буксира.

— Это еще в пределах мусульманских приличий, — успокоил Николая Павловича речной лоцман. — То ли бывает.

Вот и радистик в пределах приличий сработал и смылся прилично — по семейным обстоятельствам и с заменой из отдела кадров. Четкий паренек, исполнительный, аккуратно причесанный, знаток электромузыки, целеустремленный ходок! Вот ведь как — далеко глядим, да близко видим. А если и далеко видим, так близко думаем!..

Перед глазами у капитана собственный сын. А жены у Николая Павловича давно нет, и ему трудно представить, что такое рак той самой груди, которую он так любил у нее когда-то, но к которой она не дала ему больше притронуться с тех пор, как забеременела, а потом родила и стала кормить сына.

И снова Николай Павлович — по старости, что ли? — чувствует себя виноватым и перед женой, и перед невесткой, и вот перед Ритой, и даже перед поварихой непутевой, если посмотреть на это дело в целом.

Судно принимал, команду работой сплачивал, с прорабами сидел, лощиями запасался, попутный груз, хотя бы на Союз, и валюту выколачивал, да и время прихода в Гибралтар прикидывал, где на Мэйн-стрит в лавочке мистера Генри Фансяня должны лежать обещанные в прошлом рейсе игрушечный пистолет и вельветовые штанцы с медными тиграми для внука... — и проморгал, выходит, в упор проморгал человека?

— Ну уж, — фыркнул Николай Павлович, — как-нибудь без слюнявых обобщений. Не было у меня на судах подлости в законе и не будет. А если будет — для чего тогда я над людьми торчу?.. Маргарита! Ты жива там еще? — спросил он вниз, в иллюминатор. — Я тебе покажу Италию!

Рита услышала окрик капитана, но не тронулась с места. Голова ее нашла удобное место у леерной стойки, и тело немного согрелось под полушубком, и море прояснилось до горизонта, и качка уже кончилась, хотя передняя мачта, словно «дворник» на стекле автомобиля, еще размазывала по небу слева направо легкие облака. И неведомая дотоле легкость настала в теле. Все движения внутри и все боли как-то незаметно пропали, ушли, истаяли. Толь-

ко легкость и тишина. И еще запах овчины.

«Наверное, так умирают от старости старухи», — подумала Рита, и ей захотелось поплакать, и она почувствовала, что слезы найдутся, как вчера почувствовала, что сможет поесть. Передняя мачта, качаясь все так же равномерно, перестала размазывать небо, и пока не капнуло на руку, Рита не догадалась, что уже плачет, плачет давно, просто, без натуги, полно и незаметно, так, как сходит по теплу снег.

«Вот сейчас... А как же... без меня? Или... это? Разве без меня... это все будет? Без меня ведь... ничего этого... не будет».

— Ну, так ты жива еще? — ехидно повторил сверху капитан.

1965, 1985

ПЯТЫЙ РЕЙС

1

К Харасавэю подошли к полуночи. В серой морозной мгле, за восторошенной равниной припая, совершенно сельски светились редкие огоньки, как светят, бывает, русские деревни в окна ночных поездов, и даже незатихающий факел газового фонтана казался отсюда, с расстояния в несколько миль, не более чем кучей сжигаемого мусора или старых садовых веток. Чуть на отшибе мерцали огни стоящего под разгрузкой сухогруза «Пионер Калитвы» и обеспечивающего его ледоколычка «Жужмуй». («Его самого надо обеспечивать — какие его силешки в Арктике в середине апреля!» — только что пожаловались с ледокола «Капитан Границын».)

Машину остановили, и в рубке воцарилась тишина, нарушаемая лишь гулом льда под отходящим в сторону Вторым Атомоходом.

Зашли к Харасавэю по двум причинам: дать бункер «Капитану Границыну» (вообще-то топлива — если уж тащиться за тридевять земель — можно было бы взять в Мурманске и побольше), а во-вторых, вдоль Ямала держалась слабая заприпайная полынья, затянутая молодыми полуметровыми льдами, — дорога!

— Минус тридцать три наверху, — заговорил из центрального поста стармех, — и вода минус два. Как топливо выдавать будем, Леонид Семенович?

— Долго выдавать будем, Виктор Григорьич. Сам понимаешь, груз такой: греться нам никак нельзя.

Хрипловато намурлыкивая: «Когда усталая подлодка... А летом лучше, чем зимой...», Леонид Семенович Серояров походил по рубке, потянулся и даже зевнул, хотя и не любил делать неслужебные движения на мостике и штурманам этого не позволял, однако вот — отпустило.

Вчерашнюю ночь ковырялись в сморозях Югорского Шара, ведя за собою танкер «Ленинск-Донецкий», вместе с которым выбрались из Карских Ворот, вернее — уже даже из юго-восточного угла Баренцева моря, куда их вынесло после двухсуточного дрейфа (капитан ледовой проводки из Амдермы дал рекомендацию, оказывается, недельной давности: не было-де самолета ледовой разведки, — и Леонид Семенович попался, как мальчик, может быть потому, что прошлый рейс сам шел Воротами на Мурманск — и шел свободно).

— И куда тебя, старый, понесло? — спросил, выйдя на связь по радиотелефону, давний друг и приятель, капитан Второго Атомохода Фастов. — У нас тут пять дней северные, северо-восточные ветры работали, весь серьезный лед в этот угол набило и сквозь Ворота на запад протиснуло.

— Выходит, всю жизнь учат и никак не научат, Василий Алексеич, — ответил Серояров.

— Впрочем, если бы и самолет был, проку немного — наука больше на диссертации нацелена, нежели на сегодняшнюю конкретную потребность. Хозяин нужен Арктике, хозяин!.. Ну, выберешься или к тебе бежать?

— Сам залез, сам и вылезу, конечно! — Букву «ч» в этом слове Леонид Семенович выговаривал особенно четко.

— Забери и «Ленинск-Донецкий», пожалуйста. Выбейся обратно, обогни этот язык, по закраинке на Юшар выходи. Мы тебя тут, в глубоководной части, ждать будем...

МУРМАНСКА ВЕСЬМА СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ
ПРОШУ СООБЩИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ОКАТЫШЕЙ УКАЗАННУЮ
НАКЛАДНЫХ ГРУЗОТПРАВИТЕЛЯ ЭПТ НАЛИЧИЕ СУДНЕ ДАННЫХ
ТЕМПЕРАТУРЕ ПЕРЕД ПОГРУЗКОЙ СОГЛАСНО ВАШЕЙ ОГОВОРКЕ
КАРГОПЛАНЕ ПОДОЛЬСКИЙ

Входить в узкий и мелкий с запада Югорский Шар на крупнотоннажном и глубокосидящем судне, каковым и была «Лувеньга», и в добрую погоду не очень чтобы очень... В эту же полуночь, когда не было уже ни настоящей тьмы, ни настоящего света и створные знаки потому различались слабо, выручал, как всегда, локатор, вернее, два локатора, по которым оба младших помощника делали каждый порознь на своей карте прокладку.

«Ленинск-Донецкий» шел по каналу следом.

— Ну вот и хорошо, — сказал при встрече, уже под утро, Василий Алексеевич Фастов. — Теперь ордер такой

пока: мы первыми, потом вы, потом сибиряне, и концевым — «Ленинск». Ну а у барьера, может быть, и «на усы» вас брать придется.

— На буксире не пойду!

— Ну, Леонид Семеныч, мы вон «Колу» только что — с трудом! — «на усах» выводили! Еле протащили.

— Не знаю, как там «Кола», а я не пойду, если, Василий Алексеич, ты даже прикажешь!

— У Белого, значит, у острова все равно, значит, буксировать придется, там такие, значит, дела... — вступил в разговор Третий Атомоход.

— Пароход у меня новый, и нос у меня новый, и вам я его корёжить не дам! Все равно вдвоем поведете, а за вами и я, как миленький, пройду.

— Ну ладно, Леонид Семеныч, в крайнем случае бросим тебя посреди моря, настоишься! — для промфинплана...

— А ничего, и настоюсь, раз так, Василий Алексеич...

Однако к Харасавю дошли покамест и без буксира, хотя несколько раз стояли, пока атомоходы окальывали друг друга и искали в торосах обходные пути. Потом Третий Атомоход все-таки взял «Ленинск-Донецкий» на буксир вплотную, «на усы». Он и сейчас тащил танкер где-то позади, освещая горизонт мощным самодеятельным прожектором — гордостью экипажа и завистью всех других арктических судов.

...Засыпая, Леонид Семеныч вспомнил молодые свои годы, когда ходили, бывало, «в полярку» — по становищам и зимовьям, собирая сезонников, которые уже сидели по арктическим берегам, стуча от нетерпения в «юшары» — деревянные сундуки, вмещающие весь сезонно-зимовочный скарб и прозванные так по имени пароходика «Юшар». Октябрь тогда был уже немислимо поздним месяцем для окончания навигации...

2

Владимир Иванович Даль в своем толковом словаре поясняет: окатыши — это кругляки, окатки, вообще — окатанные вещи, катышки, скатанные шарики.

Большая Советская Энциклопедия утверждает, что окатыши — это рудный материал в виде прочных комочков сферической формы, образуемых по принципу снежного кома, и добавляет, что они (окатыши) способны переносить

сить транспортировку с перегрузками и длительное хранение.

«Технические условия на окатыши» Сокольского металлургического комбината — бумага за семью печатями и, соответственно, подписями — кратко информируют, что они — окатыши — по химическому составу и физическим свойствам должны удовлетворять требованиям ТУ 14—9—207—82 (без изменения № 3).

Начальник пароходства, навестивший «Лувеньгу» перед первым рабочим рейсом, выразился проще:

— Плохой груз повезешь, капитан. Будь внимателен, пока не сдашь ТЦК — Транспортному Цеху Комбината. Особенно — за температурой следи. Мы были вынуждены принять условия на перевозку, что выдал Южный филиал, но все-таки груз недостаточно проверенный, так сказать, не обкатанный. Однако он нужен Комбинату, — нажал он, — потому что стране нужны корабли, автомобили, ракеты и станки, а это — Металл, — еще больше нажал начальник пароходства, так что Леонид Семеныч последнее слово увидел так: металл! — И, по справедливости, все эти рейсы — а не только первый, и мы, и Минчермет, и Минцветмет будем считать экспериментальными. Помни, капитан, на прежних сортах окатышей мы потеряли трех человек.

«В таком случае надо хотя бы плату за страх платить, — подумал Серояров, — хотя бы матросам. Что у них окладишко-то, по нынешним временам — девяносто рублей... А условия на перевозку вообще-то должен разрабатывать тот, кто будет возить...»

Едва глянув, еще до встречи с начальством, на бумагу с печатями семи ведомств, Леонид Семеныч сказал себе: «Морфлот опять на мель посадили, а раз так, то посадили прежде всего моряков. Три конторы разработали, с тремя согласовано, седьмая утвердила, деньги за эксперимент получают одесситы — а отвечать будем мы». И предупреждение руководства о плохом грузе прямоком подтвердило это.

Неизвестности в море, особенно в Арктике, особенно зимой, — и так предостаточно, а тут неизвестность была прямо под ногами, и от этой неизвестности до земной тверди что вперед, что назад, что по оба борта, что даже вниз — тоже предостаточно... Однако нужно окатыши везти, потому что кроме как морфлоту это некому. Начальника паро-

ходства понять можно, он главный купец, ему деньги для фирмы и валюту для страны добывать надо. И с этими окатышами над ним наверняка бо-о-льшие ребята довлеют...

— Шесть тысяч тонн нечистой силы... — пошутил Серояров, когда второй штурман доложил ему об окончании погрузки окатышей. Но первый рейс — туда — прошел благополучно (только белоснежная надстройка «Лувеньги» приобрела какой-то отвратный оттенок, больно бивший по глазам и по сердцу Леонида Семеныча), и третий рейс — снова туда — прошел благополучно (только надстройка еще больше «опоносилась», как выразился боцман Ерошенко), и вот теперь пятый рейс шел пока нормально, хотя в порту пришлось порядком поругаться и даже волевым решением прекращать погрузку, поскольку порт отмахивался от предоставления сертификатов на груз, — но спокойствия на душе не было...

Очень уж хороший пароход достался капитану Сероярову на склоне капитанских лет — последнее слово техники, полуавтомат: на чистой воде вахту на мостике и в машине несли всего два человека, везли вдвоем двадцать тысяч тонн груза. Получившее хождение в народе прозвище этой серии судов, из-за оранжевого цвета корпуса, — «морковки», — сильно обижало Леонида Семеныча. «Ну народ! Прилепят — не отдерешь!» Леонид Семеныч менялся в лице, когда ненароком ухватывал в разговорах овощехранилищную терминологию, и вынужден был в конце концов официальным приказом запретить ее употребление у себя на борту.

...К утру потеплело, и когда, закончив бункеровку «Границына», возобновили движение, на улице было всего лишь минус двадцать семь. Сибиряне сгоняли свой вертолет вдоль Ямала, дорожка была ясна, и они втроем (атомоходы впереди, а «Лувеньга» следом) веселенько побежали по заприпайной полынье, как раз по маршруту гибельного дрейфа брусиловской шхуны «Святая Анна» — в зимней Арктике полынья практически всегда покрыта льдом, открытая (даже морская) вода и двух часов не устоит при тридцати—пятидесятиградусных морозах. И сейчас она держалась ровно настолько, чтобы поднимать стену морозного пара, наполовину скрывающую надстройку Третьего Атомохода.

ДИКСОНА СРОЧНО АЛ-2 ФАСТОВУ АЛ-3 КРАСАВЦЕВУ
РЕШЕНИЕМ ПРОВОДКЕ ТХ ЛУВЕНЬГА ОБОИМИ АЛ АЛ СОГЛАСЕН
КОСТРИЦКИЙ

Но праздники в Арктике кончаются быстро, и вот уже третий час рыщет где-то впереди, в белесом пространстве, «борт» (хорошо — вертолет есть, хорошо — погода лётная, хорошо — просто солнце в небе, хоть и низко, к ночи, ходит!). А вот зимой либо пасьянс на картах (ледовой обстановки) раскладывая, либо корпусом лед пробуй, а чаще всего — и пасьянс, и разведка корпусом — вместе... Рыщет «борт», а с «борта» лучший ледокольский гидролог Лозов вещает:

— Второй, я борт-904! По болотцам, по ниласам, в пределах доступных глубин еще миль десять—двенадцать пройдете... Дальше зона сильного торошения начинается, сжатие — все три балла, я отсюда вижу. Но тут еще можно попробовать прорубиться... А вот повыше, над Белым, такое творится, что не построено еще ледокола, чтобы пройти...

— Обижаешь, Валерий Михалыч! — отвечает атомоход. — Солдат на пузе проползет, и ничего с ним не случится.

— Через десять миль кончится пузо...

— Тогда — противолодочным зигзагом, но пройдем!

— Нет, тут не пройти, ребята. Надо другую дорогу искать. У меня горючка еще есть, пойду полее — повыше поищу. Идите, как договорились. Там видно будет. Через полчасака привод дайте, на всякий случай.

— Понял, дадим!.. Не пройти... Мы да не... — спохватываясь, атомоход разжимает тангенту, прерывает передачу.

И тут же выходит в эфир снова, на другом канале связи:

— «Лувеньга», Леонид Семеныч на мосту?

— Тут я, Василий Алексич.

— Вот, слышишь, какие мы шибко уверенные стали после Чукотки?

— Слышу.

— А ты что все наверху да наверху?

— А второго старпома нет. Сутки так делим: я — четырнадцать, старпом — десять часов...

— А что не поровну?

— А у него свои дела. Одной писанины сколько...

— Это да. На моряка сколько льда, столько и писанины. Впрочем, на чистой воде тоже хватает. Да... Вот было — антициклон надоел, и поделом мне: рассчитывал, что

циклон прикатит, лед от бережка отожмет... Видел, какой по Скандинавии катился? Спутник фотографии давал — загляденье!

— Я же в порту стоял... Погрузка-разгрузка, да еще тут комиссии всякие...

— Понятно. Такой хороший циклон шел, ну, думаю, все отожмет, а он вон куда забрался — пять дней северные дули! Все Карское море на нас, понимаешь, навалило. И снова, слышишь, оттуда, сверху жмет. Придется тебе «на усах» походить...

— Не пойду, сказал, Василий Алексеич! И не насилуй, по старой дружбе, хотя ты и ведущий ледокол! У нас же носовая оконечность конструкции «soft pose», мягкий нос. Именно так и в спецификации записано...

— Ты же хотел этим месяцем обратно выйти!

— И выйду, если хорошо поработаем. Такое судно — двадцать тысяч лошадей и пневмообмыв корпуса! — грех двумя атомоходами «на усах» таскать. Гре-ех! Минутку... Рулевой, горку слева не трогать! Прижмись к правой стенке. Так... Вот и говорю, Василий Алексеич, зачем же единственной тактикой пользоваться: один — лидер, а другому в зад мы ноздрей должны упираться? И ему хлопотно, и нам больно!

— Ну, поглядим-посмотрим.

— Главное — сами не садитесь.

— Будем садиться, я своему Лозову, как себе, верю.

— Вот и пригодится вам свобода маневра...

— Еще вопрос, Леонид Семеныч. Так что там эта московская комиссия наработала? Поделись...

МУРМАНСКА ВЕСЬМА СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ
СООБЩЕНИЮ КАПИТАНА ХАРЛОВА ТХ СОСНОГОРСК ОБНАРУ-
ЖЕНО САМОВОЗГОРАНИЕ ОКАТЫШЕЙ ТРЮМЕ ПРОЦЕССЕ ВЫГРУЗ-
КИ ПРИЧАЛА ТЦК ТЧК СРЕДСТВАМИ ВОДОПЕНОТУШЕНИЯ ОСТА-
НОВИТЬ ПОЖАР НЕ УДАЛОСЬ ТЧК ЗАГЕРМЕТИЗИРОВАЛИ ТРЮМ
ПРИМЕНИЛИ УГЛЕКИСЛОТНОЕ ТУШЕНИЕ ВСЕХ БАЛЛОНОВ ТЧК
ПОЛУЧЕНИЕМ ОРГАНИЗУЙТЕ ТЩАТЕЛЬНОЕ НАБЛЮДЕНИЕ ГРУ-
ЗОМ ОКАТЫШЕЙ ЗПТ СМЕЖНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ ЯСНОСТЬ ИСП-
ПОЛНЕНИЕ ПОДТВЕРДИТЕ

УДОВИН

— Извини, Василий Алексеич. Комиссий без актов, сам понимаешь, не бывает... Тут РДО пришло, надо бы мне распорядиться и Удовину подтверждение по одному дельцу дать. Извини. Я тебя сам вызову, конечно.

Температуру окатышей в трюмах проверяли ежедневно, да, кроме того, в них стояло по два десятка датчиков пожарной сигнализации, однако, получив радиограмму из пароходства, Леонид Семеныч вызвал старпома и приказал ему подготовить и отправить в трюма проверочную группу в составе второго и третьего помощников в кислородных изолирующих приборах с соответствующей страховкой.

Старпом Валентин Валентинович Коротков был, несомненно, интеллигентным и образованным человеком, но что его на море подводило, так это склонность к витиеватому изложению мыслей. Запрокинув седую голову с длинными покатыми залысинами (капитан стоял на рыбинсе у пульта управления и был потому выше), Валентин Валентинович сказал:

— Поскольку замеры сегодня уже производились, а трюма задраены, полагаю, за этот период не могло произойти изменений микроструктуры вещества в результате длительного общения с влагой и кислородом воздуха, несмотря на вибрацию мощного судна во льду...

Леонид Семеныч вытащил из кармана сложенный вдвое листок:

— Читайте, про себя.

Прочитав, Валентин Валентинович заметил:

— Я предупреждал о непредсказуемости поведения окатышей как следствии отсутствия каких-либо четких исследований по длинной цепи их движения к судну... Что же, исполняю ваше распоряжение о проверке...

— Радиограмму верните, Валентин Валентинович. Народу об этом мы пока помолчим. Надо выждать, как там на «Сосногорске». У нас над окатышами триста пятьдесят тонн груза на второй палубе. И еще столько же на крышах люков. Так что в случае чего мы все равно до окатышей не доберемся. Надо терпеть, терпеть! — и идти вперед, и чем быстрее, тем лучше... Так что по дороге пошлите-ка сюда стармеха.

— Полностью поддерживаю положение ваших мыслей, Леонид Семеныч. Насколько я помню, груз мы брали из одного штабеля с «Сосногорском».

Успокоив капитана таким образом, Валентин Валентинович повернулся и исчез: странное дело, излагал он всегда долго, но по трапам и палубам — пожалуй, единственный

из экипажа — даже по будним делам бегал шустро.

...Стали попадаться пухлые перемычки, в которых взяли атомоходы, но «Лувеньга» проходила их спокойно: действовал пневмообмыв, то есть подаваемый компрессорами под днище воздух, и бурая обская вода, которая весь ил Западной Сибири в океан выносит, бурлила, пузырилась, обмывала лед вдоль бортов.

Поднялся на мостик и стармех, в спортивном костюме и с капельками пота на висках, видимо прямо из спортзала, и они на ходу, отойдя в уголок рубки, вполголоса обсудили, какие меры можно и нужно предпринять в связи с чрезвычайным происшествием на «Сосногорске». Выяснилось при этом, что мера может быть реальна одна: ждать.

— Гарывали, — сказал стармех, — выдержим. Помню, на «Павле Акимове» пять суток горели, полтрюма телогреек и ватных штанов везли, а под них грузовладелец умудрился втихаря карбид в бочках засунуть... Выдержим. В крайнем случае трюм затопить придется, что мне лично крайне нежелательно, потому что этой дрянью от окатышей может приемные отверстия осушения забить. Кстати, через осушительную систему и воду в трюм подадим, обратным ходом, чтобы пожарную магистраль не размораживать.

— Затопить трюм — последнее дело! Так что будем углекислотой давить.

— Попробуем, — ответил стармех, — и углекислотой. Гарывали!

МУРМАНСК СРОЧНО УДОВИНУ
ПОЛУЧЕНИЕ ЯСНОСТЬ ИСПОЛНЕНИЕ ПОДТВЕРЖДАЮ

СЕРОЯРОВ

Штурмана с проверкой управились быстро, несмотря на амуницию: телогрейки, теплые сапоги, теплые брюки, ранцы с баллонами, маски, каски, шланги, монтажные пояса, страховочные линии; доложили о результатах осмотра сначала с палубы — по переносным рациям, а затем уже, распаренные и разоблаченные, поднялись в сопровождении Валентина Валентиновича в рубку, и Леонид Семеныч, глядя в их молодые розовые лица, успокоился.

— Ну?

— Все о'кэй. Температура чуть выше нуля; на внешний взгляд, с окатышами ничего не происходит.

— И ладно. Порядок. Однако будем следить еще внимательнее, хотя, признаться, я уж и не представляю, как

это можно еще делать. Отдохните немного, моряки... Валентин Валентинович, пусть боцман шланги с обоих бортов к трюмам разнесет, но пользоваться пожарной магистралью мы будем только в самом крайнем случае...

— Но позвольте, Леонид Семеныч, зачем же раскатывать шланги и таким образом загрязнять их о палубу, ежели как божий день ясно, что пеной вещество окатышей от пламени не отчленяется, то есть наоборот, пламя не отчленяется от вещества! Я вам уже докладывал свое мнение: для этого груза, на мой взгляд, нужна постоянная — естественная — вентиляция, чтобы выпускать джин из бутылки, исходя из его определенных и непредсказуемых свойств...

— Понятие «выпустить джинна из бутылки», Валентин Валентинович, означает: выпустить на волю несчастье и развязать ему руки. Развязать руки злу. Вы что, хотите ЧП и для нас? У меня другое желание, и потому трюма с окатышами задраены, загерметизированы и даже закрыты на замки, чтобы туда никто не влез и не задохнулся, как бывало! Вы их навесили, кстати, снова? Ваш джинн, может быть, только того и ждет, конечно!

— Все закрыто, как было, как определено приказом по судну. Вот если бы у нас действительно были действительные технические условия на перевозку... И разъяснения: вентилировать или же воздержаться...

— Мне этой небольшой милости тоже очень недостает...

ДИКСОНА СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ
ВАШУ БЕЗОПАСНОСТЬ БУДУТ ОБЕСПЕЧИВАТЬ ОБА АЛ АЛ
КОСТРИЦКИЙ

Старпом упрямо продолжал:

— ...Потому что возможная длительность пребывания увлажненного окатыша в замкнутом объеме трюма...

«Лувеньга» резко вздрогнула, наскочив, очевидно, на какой-то очень уж крупный обломок льда, раздался дробный треск, будто стреляли скорострельные зенитки, два гулких удара, и все впереди застлало коричневым дымом, из которого по настилу верхнего мостика, по стенке и стеклам рубки серой струей хлестнул крупный град. Атомоходы, и лед, и полубак, и грузовые краны исчезли в гороховой мути.

Леонид Семеныч Серояров отпрянул от окна, схватился за рукоятку управления гребным винтом, согнулся:

— А вот и наши окатыши высказались, конечно. Общесудовая тревога!

МУРМАНСК ВЕСЬМА СРОЧНО ГНАТЮКУ
 ПРОИЗОШЕЛ ВЗРЫВ ЧЕТВЕРТОМ ТРЮМЕ РЕЗУЛЬТАТЕ КОТО-
 РОГО ПОЛУЧИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЮКОВЫЕ КРЫШКИ ТРЮМА
 ТЧК НАБЛЮДЕНИЕМ СТОРОНЫ МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ТЕМПЕ-
 РАТУРА ПЕРЕБОРКИ ОКОЛО 80 ГРАДУСОВ ТЧК ПУСТИЛИ ТРЮМ
 ПАРТИЮ УГЛЕКИСЛОТЫ ТЧК МАШИННОМ ОТДЕЛЕНИИ ПОВРЕЖ-
 ДЕНИЙ НЕТ СИЛОВАЯ УСТАНОВКА РАБОТЕ ТЧК ПРОДОЛЖАЕМ
 ОСМОТР

СЕРОЯРОВ

МУРМАНСКА ВЕСЬМА СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ
 АЛ-2 ФАСТОВУ АЛ-3 КРАСАВЦЕВУ

СООБЩАЕМ ЧТО ОБЪЕМНОЕ ТУШЕНИЕ ОКАТЫШЕЙ НА ТХ СОС-
 НОГОРСК ВСЕМИ БАЛЛОНАМИ УГЛЕКИСЛОТЫ РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ
 ДАЛО ТЧК НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ОНИ ВЫНУЖДЕНЫ ЗАТОПИТЬ
 ТРЮМ ВОДОЙ ТЧК ПРИНЯТО ОКОЛО 1500 ТОНН ВОДЫ ТЧК ИС-
 ХОДЯ ЭТОГО СОВМЕСТНО ЛЕДОКОЛАМИ ПРОИЗВЕДИТЕ ПОДГО-
 ТОВКУ ЗАТОПЛЕНИЮ ТРЮМА ТЧК РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА ЗПТ
 ПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ИНФОРМИРУЙТЕ КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА
 ПРОКОФЬЕВ

ДИКСОНА СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ
 ПРОШУ СООБЩИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРЮМА
 КОСТРИЦКИИ

Вера Боровая лежала на спине посреди бассейна, когда вода в нем вдруг задрожала, вздыбилась, перевернула Веру через голову, рухнула, с шумом перекидываясь через бортики, и бассейн опустел на треть. Захлебываясь и кашляя, Вера выскочила наверх, в раздевалку, где только что раздавалась вечерняя музыка, а теперь надрывался звонок судовой тревоги и девчонки уже метались среди одежды, пока не раздался голос поварихи Эльфы Николаевны:

— А ну спокойно! Аня, выключи солнце! Женька! В кружева ей захотелось! (Женька прыгала на одной ноге, никак не могла попасть другой в трусики.) Марш в халат — и на место! Катерина, заберешь все шмутки к себе в каюту!

Эльфа Николаевна бывала замужем и за капитанами, и морской авторитет ее был непререкаем.

— Вер!.. Ага, все тут. Так. А где Наталья?

— Она в парилке балдеет, — ответила Катерина, быстро сгребая в кучу все подряд.

— Вер! Подними ее!

Наталья действительно балдела — нога на ногу — на верхнем полке, на подстеленном — от жару — сухом фанерном лежаке, заложив под голову полные руки и развалив свои знаменитые на все парходство груди.

— Что там? — неторопливо спросила она.

— Может, тонем... Может, столкнулись... Может, взрываемся, — тоже почему-то неторопливо ответила Вера. — Теперь слышишь?

В открытую дверь парилки рвался авральный звон.

— Ой! — Наталья с грохотом скатилась с полка, увлекая за собою лежак. Дело было сделано, и Вера помчалась по коридору к лифту, не замечая, что халат застегнут на одну лишь нижнюю пуговицу и что тапочки на ней не свои.

У лифта стармех, ныряя в машину, прокричал ей:

— Лифт не занимать! По трапам!

Не занимать так не занимать. Но на трапах пришлось прижиматься к переборкам, ибо сверху сыпались, разбегаясь по тревоге, моряки.

Иллюминаторы на ее заведовании в кают-компании были задраены, и тогда она отправилась действовать по расписанию дальше, в судовой лазарет. Доктор, подтянутый и аккуратный даже по тревоге, сказал ей, оглаживая бородку подрагивающей рукой:

— Застегнитесь, коллега. Вот расческа, причешитесь. Вот медицинская косынка, коллега, повяжитесь. А теперь ступайте в каюту, коллега, и оденьтесь как следует. Вам, возможно, придется оказывать помощь на палубе, а там около тридцати градусов мороза. Встретите остальной состав санитарного поста, напомните им, коллега, чтобы они тоже были в форме.

Доктор обычно обращался к судовым девушкам покровительно-небрежно и по имени, но, очевидно, новое обращение он считал необходимым для создавшейся обстановки. Однако, отдать ему должное, доложил на мостик о том, что санитарный пост развернут, только после того, как все «коллеги» собрались снова. После этого он отправил Веру в салон пассажиров уточнить, что там впереди.

Впереди был все тот же бесконечный лед; впереди, поодаль, без единого дымка, но с теплыми огнями в окнах кают недвижно стояли во льду оба атомохода; впереди, на палубе, в проходе между контейнерами, матросы в блестящих огнезащитных костюмах неторопливо, как ей снова показалось, растягивали новенькие пожарные шланги. «Лувеньга» странно вздрагивала, и когда Вера заглянула в боковой иллюминатор, она увидела, что уже почти на самую палубу вскарабкиваются толстые зеленые льдины. Тогда она испугалась, но потом ей объяснили, что это было просто сильное сжатие...

СРОЧНО МУРМАНСК ПРОКОФЬЕВУ

СТАБИЛИЗАЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОКА НЕ НАБЛЮДАЕТСЯ ТЧК КРОМЕ РАЗГЕРМЕТИЗАЦИИ ДРУГИХ ПОВРЕЖДЕНИЙ НЕ ОБНАРУЖЕНО ТЧК НАПРАВЛЯТЬ ЛЮДЕЙ ВНУТРЬ ТРЮМА СЧИТАЮ КРАЙНЕ ОПАСНЫМ ТЧК ПРОИЗВОДИМ ПРОКАЧКУ ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ ЧЕРЕЗ СМЕЖНЫЕ ТРЮМОМ ЦИСТЕРНЫ ТЧК ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДОВАТЬ СОСТАВЕ КАРАВАНА

СЕРОЯРОВ

Вера с удивлением обнаружила, что люди, ее окружающие на судне, вдруг оказались не совсем такими, как это виделось ей прежде, и первым из них — капитан. Она уже плавала на трех судах, и Леонид Семеныч нравился ей меньше других ее капитанов: крепкий головастый полулысый мужик, с прозрачным тяжелым взглядом, со странной привычкой наборматывать, как заезженная пластинка, нелепо сдвоенные строчки каких-нибудь песен, он неизменно говорил ей «ты», но с именем-отчеством — Вера Петровна, никогда особо не засиживался в кают-компаниях, не травил байки и вообще был как бы из предыдущего века. И вот на нем какие сутки тяжелая, даже ей понятная, ледовая проводка, и то гаснувший, то разгорающийся трюм, и то, что по его распоряжению могли погибнуть два молодых помощника, спустись они в трюм на каких-нибудь тридцать—сорок минут позже. И при этом она сама слышала, как он только что тихо хрипел, спускаясь с мостика к себе в каюту: «...и фотографии девчонок... и нету других забот...»

Третьего помощника она звала просто Юра, и у них могли бы быть далеко не служебные отношения, как это выяснилось на Восьмое марта в прошлом рейсе, если бы он уже не был женат. И вот такой чудный парнишечка с новеньким значком высшей мореходки мог быть там!.. Но если подпрыгнули, оборвав все до единого крепления, даже

несколько сотен тонн груза, что было бы с Юрой там, внутри, где он вполне даже мог оказаться в тот момент и даже наверняка оказался бы, если бы они не работали так быстро!..

...Сначала Юра заметил, что ему после взрыва стало доставаться на котлетку либо на пирожок больше, чем соседям по столу, потом заметил, видимо, и кое-что другое, и ей пришлось снова вспомнить про самообладание, чтобы Юра вполне сознательно вернулся к их довзрывным служебным отношениям.

ДИКСОН СРОЧНО КОСТРИЦКОМУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРЮМА БУДУТ СООБЩЕНЫ
ПОСЛЕ ЕГО ОБСЛЕДОВАНИЯ СЕРОЯРОВ

9

МУРМАНСКА ВЕСЬМА СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ
АЛ-2 ФАСТОВУ ДИКСОН КОСТРИЦКОМУ
ПОЛУЧЕНИЕМ СЛЕДУЙТЕ РАЙОН ДИКСОНА МЕСТУ ДОСТУПНОГО ПОДЪЕЗДА ПОЖАРНЫХ МАШИН ЗПТ ДОСТАТОЧНЫХ ГЛУБИН АТОМОХОДАМ ДЛЯ ЛИКВИДАЦИИ ПОВЫШЕННОГО ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА ОКАТЫШЕЙ ТЧК ПОДТВЕРЖДАЕМ ЛЮБУЮ ПЕРЕВАЛКУ ГРУЗА ЦЕЛЬЮ ДОСТУПА ЗАТОПЛЕНИЯ ТРЮМА
ПРОКОФЬЕВ

ДИКСОН СРОЧНО КОСТРИЦКОМУ
ПОЛАГАЮ ПОДХОД ПОРТ 19 АПРЕЛЯ УТРОМ ПРОШУ ОБЕСПЕЧИТЬ МИНИМАЛЬНУЮ ВЫГРУЗКУ ДВТЧ 44 ГРУЖЕННЫХ КОНТЕЙНЕРА КРЫШКИ ЧЕТВЕРТОГО ТРЮМА ЗПТ 350 ТОНН ОБОРУДОВАНИЯ ЧЕТВЕРТОГО ТВИНДЕКА ЗПТ ПЛИТ ЖБИ ОКОЛО 100 ТОНН КРЫШКИ ТРЮМА ПЯТЬ ТЧК ВОЗМОЖНО ПОТРЕБУЕТСЯ ПОМОЩЬ ТРЕХ ТИРЕ ЧЕТЫРЕХ ПОЖМАШИН
СЕРОЯРОВ

...Вертолеты с обоих атомоходов сменяли друг друга в воздухе непрерывно, лучшие гидрологи Лозов со Второго Атомохода и Руслан Фетисов — с Третьего, часами мотались в белом арктическом небе, наверное, с той долей ненависти, которую всегда порождает ответственность, выскивая во льдах легкую, а значит — кратчайшую, дорогу кавану.

После взрыва речи о буксировке «на усах» у атомоходов не возникало. В этом они были единодушны. Но осведомлялись о самочувствии «Лувеньги» по-разному.

АЛ-2:

— Ну как ты там, Леонид Семеныч, у себя на вулкане?

АЛ-3:

— Ну как вы там, значит, на своем, значит, пороховом погребце?

Фастову Леонид Семеныч отвечал:

— На Этне все спокойно, Василий Алексеич. Дымимся помаленьку.

Красавцеву:

— Орошаем, Владимир Николаевич, значит, в соответствии с инструкцией.

Орошаться, действительно, приходилось постоянно, но вот только инструкцию надо было на ходу сочинять себе самим.

Выяснилось, что углекислота, выпущенная в трюм, так же как и на «Сосногорске», лишь кратковременно — и незначительно — понизила температуру груза, а затем трюм стал разогреваться так, что краска в машинном отделении на смежной переборке начала желтеть и трескаться.

— Если плюнуть — зашипит, — доложил из центрального поста стармех. — Термометры на сто двадцать зашкаливают, сейчас заменим спиртовыми на сто восемьдесят... Надо трюм затоплять, Леонид Семенович, один выход остается. У нас все готово.

— Попробуйте усилить рециркуляцию балластов, Виктор Григорьич!..

— Разрешите, я на мостик поднимусь?..

Пока стармех ехал в лифте из машины на седьмую палубу, Леонид Семеныч успел еще раз прикинуть, что: а) затопление трюма неизвестным образом неизбежно повлияет на окатыши; б) выделяющийся при этом пар повлияет на оборудование, находящееся этажом выше, на твин-деке, и уже подвергшееся воздействию и взрыва и углекислоты; в) принятая вода увеличит осадку «Лувеньги», а нужно будет еще проходить входной бар и перекаты реки, где запасы воды под килем не более метра, а это, помимо всего прочего, означает, при такой толщине льда, что любой хороший обломок его, попавший под днище, будет для «Лувеньги» скалою... тогда как капитан Серояров уже пятнадцать лет с гордостью носит значок «За безаварийную работу»!

Стармех, поднявшись, сказал так:

— Леонид Семенович, извините, я с вами одним воспоминанием поделюсь. Когда я стармехом шел впервые, первым рейсом, лет десять тому, начал у меня греться упор-

ный подшипник. Не здорово, но греется и греется. Так я, поверите, до того заклинился — носовой платок под сифоном (там у нас в машине холодная питьевая вода подавалась) намочу и к подшипнику прикладываю, для охлаждения подшипника, значит, пока платок не высохнет. Капитану доложили. Он в машину спустился, вместе со мной сначала к подшипнику, потом к сифону пошел. «Ну, мочи, — говорит, — платок. Намочил? Теперь на лоб себе положи и подумай, почему подшипник греется!» Вот и наше полоскание балластов — вроде того носового платка. Я их пополоскал-пополоскал и подумал: надо трюм затоплять. Извините, Леонид Семенович.

Серояров посмотрел на коротко стриженную голову своего стармеха:

— Да я и сам это знаю, Виктор Григорьевич... Всю морскую жизнь груз привык беречь, дело святое. Но выбирать не приходится, конечно!

10

МУРМАНСК СРОЧНО ПРОКОФЬЕВУ ДИКСОН КОСТРИЦКОМУ
ВВИДУ РЕЗКОГО ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ГРУЗА ПУСТИЛИ
ВОДУ ЧЕТВЕРТЫЙ ТРЮМ СНИЗУ ЧЕРЕЗ ОСУШИТЕЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ
РАСЧЕТОМ СОБЛЮДЕНИЯ ПРОХОДНОЙ ОСАДКИ ПЕРЕКАТАХ
РЕКИ ТЧК СЧИТАЮ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ СЛЕДОВАТЬ ПРЯМО ТЦК
ТАК КАК НЕ ВИЖУ ВОЗМОЖНОСТИ СОХРАНЕНИЯ ГРУЗА ТОМ
ЧИСЛЕ ТЯЖЕЛОВЕСОВ ВЫГРУЗКЕ ЛЕД РАЙОНЕ ДИКСОНА

СЕРОЯРОВ

ДИКСОНА СРОЧНО МУРМАНСК ПРОКОФЬЕВУ
РЕШЕНИЕМ КАПИТАНА СЕРОЯРОВА СОГЛАСЕН

КОСТРИЦКИИ

МУРМАНСКА ВЕСЬМА СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ
РЕЗУЛЬТАТЫ ЗАТОПЛЕНИЯ ОТВЕТ АППАРАТА ТЧК ДАЛЕЕ ТЕМ-
ПЕРАТУРУ СОСТОЯНИЕ ГРУЗА ДОКЛАДЫВАТЬ КАЖДЫЕ ДВА ЧАСА
ЛЮБИТИН

МУРМАНСК СРОЧНО ПРОКОФЬЕВУ ЗПТ ЛЮБИТИНУ
ПОСТОЯННЫМ НАБЛЮДЕНИЕМ ТЕМПЕРАТУРОЙ ГРУЗА НАБЛЮ-
ДАЕТСЯ ТЕНДЕНЦИЯ СНИЖЕНИЯ РАЙОН БЕЗОПАСНЫХ ПРЕДЕ-
ЛОВ ИНСТРУКЦИИ

СЕРОЯРОВ

МУРМАНСКА ВЕСЬМА СРОЧНО ДИКСОН КОСТРИЦКОМУ ЛК
КАП ЕРМОЛАЕВ КУЖЕНКИНУ ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ ТХ СОС-
НОГОРСК ХАРЛОВУ

УЧИТЫВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННУЮ ОБСТАНОВКУ ТХ СОСНО-
ГОРСК РАССМОТРИТЕ ВОПРОС НАПРАВЛЕНИЯ ЛК КАП ЕРМОЛАЕ-
В ВСТРЕЧУ ЗПТ БЫСТРЕЙШУЮ ПРОВОДКУ ТХ ЛУВЕНЬГА ТЧК
ИНФОРМИРУЙТЕ

ПРОКОФЬЕВ

МУРМАНСКА ВЕСЬМА СРОЧНО ЛК КАП ЕРМОЛАЕВ КУЖЕНКИНУ

ОКОНЧАНИЕМ РАБОТЫ ТХ СОСНОГОРСК СЛЕДУЙТЕ ВСТРЕЧУ ТХ ЛУВЕНЬГА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЫСТРЕЙШЕЙ ПРОВОДКИ ТЧК ИСПОЛНЕНИЕ ПОДТВЕРДИТЬ

МАЕВСКИЙ

МУРМАНСК ВЕСЬМА СРОЧНО ПРОКОФЬЕВУ
СОГЛАСОВАНИЮ КАПИТАНОМ ХАРЛОВЫМ ТХ СОСНОГОРСК ПОМОЩЬ НЕ НУЖНА ТЧК ОТОШЛИ РАСКАНТОВАЛИСЬ ФОРСИРОВАННЫМ ХОДОМ ПОСЛЕДОВАЛИ СОЕДИНЕНИЕ ТХ ЛУВЕНЬГА СКОРОСТЬ ОКОЛО ПЯТИ УЗЛОВ

КУЖЕНКИН

МУРМАНСК СРОЧНО ПРОКОФЬЕВУ
ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДОВАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ВСТРЕЧУ ЛК КАП ЕРМОЛАЕВ СКОРОСТЬ ДВА ТИРЕ ТРИ УЗЛА ТЕМПЕРАТУРА ГРУЗА ПРЕДЕЛАХ НОРМЫ

СЕРОЯРОВ

МУРМАНСК ВЕСЬМА СРОЧНО ПРОКОФЬЕВУ
ПРОДОЛЖАЕМ СЛЕДОВАТЬ ФОРСИРОВАННЫМ ХОДОМ СОЕДИНЕНИЕ ТХ ЛУВЕНЬГА ЛЕД 150 ТИРЕ 180 СМ ЗАСНЕЖЕН ВИДИМОСТЬ ХОРОШАЯ ВОЗДУХ МИНУС 34 ВАХТУ ПРОЙДЕНО 17 МИЛЬ
КУЖЕНКИН

МУРМАНСК СРОЧНО ПРОКОФЬЕВУ
ОСТАНОВИЛИСЬ ВВИДУ НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ЛЕД ПРИПАЙ 130 ТИРЕ 160 СМ ЗАСНЕЖЕН КАНАЛ СТАРЫЙ НАБИТ ПЕРЕМЕТЕН ТЕМПЕРАТУРА ВОЗДУХА МИНУС 36 ГРУЗА СИЮ* ПЛЮС 32 ОДНАКО ПРОЦЕСС ГОРЕНИЯ НЕ ЛИКВИДИРОВАН ПОСТОЯННО ДАВИМ ВОДОЙ

СЕРОЯРОВ

МУРМАНСКА СРОЧНО ДИКСОН КОСТРИЦКОМУ ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ ЛК КАП ЕРМОЛАЕВ КУЖЕНКИНУ

СВЯЗИ НЕВОЗМОЖНОСТЬЮ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ АВАРИЙНОГО ТХ ЛУВЕНЬГА ЗПТ МЕДЛЕННЫМ ПРОДВИЖЕНИЕМ НЕМУ НАВСТРЕЧУ ЛК КАП ЕРМОЛАЕВ ПРОШУ РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС НАПРАВЛЕНИЯ ОДНОГО ИЗ АТОМОХОДОВ ТХ ЛУВЕНЬГА ОБЕСПЕЧЕНИЯ СТОЯНКИ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМОСТИ ОКАЗАНИЯ ЕМУ ПОМОЩИ ТЧК РЕШЕНИЕ СООБЩИТЕ

ПРОКОФЬЕВ

МУРМАНСК СРОЧНО ПРОКОФЬЕВУ ДИКСОН КОСТРИЦКОМУ
НАПРАВЛЯТЬ АТОМОХОД ПОЛАГАЮ НЕЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ ТАК КАК МЫ СТОИМ ГЛУБИНАХ НЕДОСТУПНЫХ АТОМОХОДУ ТЧК СОСТОЯНИЕ ГРУЗА ПРЕЖНЕЕ

СЕРОЯРОВ

МУРМАНСК СРОЧНО ПРОКОФЬЕВУ
МНЕНИЕМ КАПИТАНА СЕРОЯРОВА СОГЛАСЕН

КОСТРИЦКИЙ

* С п и ю — в данный момент (служебн.).

Вдоль левого берега Великой реки навстречу «Лувеньге» по зимнику катились трактора с тростниками газовых труб на прицепе, а дальше, у щетины низменного берега, ослепительно освещенного солнцем, метался коренастый молодой конек. Без бинокля в прокаленном морозом воздухе все проявляется резко и совершенно одинаково, просто как «движущийся объект», — и собака, и оленья упряжка, и человек на снегоходе «Буран», а в бинокль видно было, что это — конек. Он то возвращался к темнеющим вдалеке строениям, то вскачь пускался вверх по реке, и, глянув туда, Леонид Семеныч рассмотрел табун — десятка три мохнатых сибирских лошадок, даже в эдакий мороз помахивающих хвостами и что-то ковыряющих копытами в тальнике.

— Это что там, олени? — не утерпел рулевой.

— Мамонты, — ответил Серояров, — ожили, при нашем явлении народу. Ты вот сейчас, Василий Иваныч, левую кромку упустишь и на повороте заклинишься!

— Все равно ничего не видно из-за этого проклятого пара. Хоть руль бросай — и пусть оно катит, как получится.

— За мачтами ледокола следи и боком бровку канала щупай. И чего это я тебя учу, а, Василий Иваныч?

— Да уж!.. Устал чего-то, — ответил рулевой, оборотив к угадываемой бровке канала — или к далекому матерому берегу — дубленое лицо.

Рулевому было почти пятьдесят — большая редкость на нынешнем флоте, на «Лувеньге» он практически один был ровесником Сероярову, и учить его было нечему, конечно.

Леонид Семеныч посмотрел вниз, на злосчастный трюм, сквозь все расселины которого густо выбивался мыльно пахнущий железом и щелоком пар, потом походил по мостику, наборматывая: «Береза белая, подруга... пересоленная вода...» — и раздумывая о том, почему так стремительно молодеет береговая бюрократия и почему — впрочем, лишь немногие — матросы, как вот Василий Иванович Князев, столько лет тянут в плавсоставе. А надо ли до пятидесяти матросам тянуть?

Торгаш, считается (когда-то лучше прозвище было: за-мора! Потом — дальник!), тряпичник, шмуточник, баракхольщик, фарцовщик, в общем. А оклад у старшего матро-

са Князева сто десять рублей, и от этого он большой коммерсант: держит в уме курс валюты применительно к месту и времени, потому что сию лежит у него на депоненте энное количество сбереженных при приемке «Лувеньги» финских крон, и теперь ему обязательно надо налево, в Европу, в ФРГ либо Голландию, где он эти депонированные деньги реализует много выгоднее, чем у финнов, и таким образом компенсирует жене, двум дочерям, зятю и внучке свой матросский оклад. А «Лувеньга» уже пятый рейс не налево, как экипаж того жаждет, а направо, в Арктику, делает, поскольку она для того и сконструирована, и, кажется, вообще рискует век свой провести на «морковной переправе» (успели моряки окрестить!)... И будет тогда коэффициент плюс полярка (кто успел заработать) — и не будет на «Лувеньге» хорошего постоянного экипажа, это не ледокол. Впрочем, и на ледоколах — даже атомных — постоянных экипажей нет, за исключением комсостава и старших специалистов.

Однако стране нужен металл, и потому переправа эта должна работать с неукоснительностью трамвайной линии даже в самую лютую, экстремальную, модно выражаясь, зиму. Недаром семь красавцев — типа «Лувеньга» — выкатили, двести сорок пять миллионов в постройку вложили. И каждый обратный (на Большую землю) рейс — на тридцать—сорок миллионов рублей продукции с Комбината. Масштабы, конечно.

ТЦК СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА КАПИТАНУ
ЦЕЛЯХ ОРГАНИЗАЦИИ СКОРОСТНОЙ РАЗГРУЗКИ СУДНА ПРО-
ШУ СРОЧНО СООБЩИТЬ КАКОМ СОСТОЯНИИ НАХОДЯТСЯ ОКА-
ТЫШИ ИХ ТЕМПЕРАТУРУ

КАСИМОВ

Трюм, действительно, судовождению не способствовал, парил густо, видимости лишал, но скоро должен был угмониться, ибо, едва миновав перекаты, когда с осадкой можно было уже не считаться, окатыши затопили полнотью.

Через перекат протискивались мучительно, почти сутки, пешком вышло бы гораздо быстрее (моряки просились на лед — на лыжах пробежаться), ледовая каша на мелководье была набита до дна, и приходилось корпусом расталкивать ее, запихивать бортами под бровки канала (а там и так за навигацию понапихано — на полреки!), и на перекате явствовало и глазу и обонянию, что илистая взбала-

мученная вода Великой реки кристальной чистотой не отличается. Впрочем, в соответствии с указаниями санэпидслужбы это и на карте — где мелкие места — помечено было педантичной рукой Валентина Валентиновича Короткова: «Запрещается принимать воду для опреснителя, судового бассейна и балластировки».

О батюшко, Брат океана!

МУРМАНСКА СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ
ПРИХОДОМ ТЦК ПРОШУ ЗАЯВИТЬ МОРСКОЙ ПРОТЕСТ СООТ-
ВЕТСТВИИ СТАТЬЕЙ 286 КОДЕКСА ТОРГОВОГО МОРЕПЛАВАНИЯ
ПЯТАКОВ

Да, батюшко, Брат океана! Такие, брат, дела. В Мурманске памятник собираются ставить — Покорителям Арктики. Ложная, залихватская, неверная установка! Уж и так не много ли природы напокоряли?! Ясно — премного, поверх ушей и поверх ума. Но Арктика — тоже природа, и надо ее не покорять, а надо в ней работать. И памятники надо ставить не покорителям ее, а работникам — это не Эверест, не полюс и не двести пятьдесят килограммов в рывке или там жиме. Еще старик Шокальский говорил в начале века: «Победить — не природу, нет, а незнакомство с нею и ее условиями, которое только и мешает нам пользоваться ею, как это надлежит». (Это изречение патриарха Арктики Леониду Семенычу настолько приглянулось, что он приказал вклеить его под обложку «Руководства по плаванию во льдах».)

МУРМАНСКА ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ ТХ СОСНОГОРСК
ХАРЛОВУ

ВАМ НАПРАВЛЕНА КОМИССИЯ ММФ ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ
БОГАТОВА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРИЧИН ВОЗГОРАНИЯ ГРУЗА ТЧК
ПРОШУ ПОДГОТОВИТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМЫЕ МАТЕРИАЛЫ ЗПТ
ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРОЖИВАНИЯ СУДНЕ

ГНАТЮК

ОДЕССЫ ВЕСЬМА СРОЧНО МОСКВА МОРФЛОТ БОГАТОВУ
ЛЕНИНГРАД ГРАФОВУ МУРМАНСК ГНАТЮКУ ТХ ЛУВЕНЬГА КАПИ-
ТАНУ ТХ СОСНОГОРСК КАПИТАНУ

СОТРУДНИКИ ЮЖНОГО ФИЛИАЛА СЕСТРИН ЗПТ КОСТРОМИН
СРОЧНО ВЫЛЕТЕЛИ КОМБИНАТ ДЛЯ РАБОТЫ СОСТАВЕ КОМИС-
СИИ

ЯРОВОЙ

МОСКВЫ СРОЧНО ТХ СОСНОГОРСК КАПИТАНУ ТХ ЛУВЕНЬ-
ГА КАПИТАНУ

КОМИССИИ ПОТРЕБУЮТСЯ НИЖЕСЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
ДВТЧ ВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУКЦИИ ЗПТ РЕКОМЕНДАЦИИ ЗПТ СУ-

ДОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ЗПТ СХЕМЫ НАЛИЧИЯ
ТОПЛИВА ЗПТ СУДОВЫЕ И МАШИННЫЕ ЖУРНАЛЫ ЗПТ ГРУЗОВАЯ
КНИГА ЗПТ КНИГА ПРИКАЗОВ ЗПТ ДОКУМЕНТЫ НА ГРУЗ
ЗПТ КОПИЯ МОРСКОГО ПРОТЕСТА

БОГАТОВ

МУРМАНСКА ТХ СОСНОГОРСК ХАРЛОВУ ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ

СРОЧНО СООБЩИТЕ ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ ГЛАВФЛОТА ОСНОВАННИИ ЗАПИСЕЙ МАШИННЫХ ЗПТ СУДОВЫХ ЖУРНАЛАХ СВЕДЕНИЯ УКАЗАНИЕМ ДАТЫ ДВТЧ ПЕРВОЕ ЗАМЕРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ ОКАТЫШЕИ ТРЮМАХ ВТОРОЕ ТЕМПЕРАТУРЫ СОПРИКАСАЮЩИХСЯ ТОПЛИВНЫХ МЕЖДУДОННЫХ ЗПТ БОРТОВЫХ ТАНКАХ ПОСЛЕ ПОДОГРЕВА В НИХ ТОПЛИВА ТЧК ПРИХОДУ МУРМАНСК ПОДГОТОВЬТЕ ВЫПИСКИ ЖУРНАЛОВ ЭТИ ЖЕ МОМЕНТЫ ДЛЯ ВЫСЫЛКИ ГЛАВФЛОТУ

ЛЮБИТИН

МУРМАНСК ЛЮБИТИНУ

СООТВЕТСТВИИ РАСПОРЯЖЕНИЕМ КАПИТАНА ЗАПИСАННЫМ МАШИННОМ ЖУРНАЛЕ НИ ОДНОМ ТОПЛИВНОМ ТАКЖЕ БАЛЛАСТНОМ ТАНКЕ ОБОГРЕВ НЕ ВКЛЮЧАЛИ

СЕРОЯРОВ

ТХ СОСНОГОРСК ВЕСЬМА СРОЧНО МУРМАНСК ГНАТЮКУ ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ

ПОСЛЕ ОТКАЧКИ ТРЮМА ОКОЛО 400 ТОНН ВОДЫ ПОЯВИВШЕЙСЯ ВОДЫ ПОВЕРХНОСТИ ГРУЗА ПРОИЗОШЛО ВТОРИЧНОЕ ВОЗГОРАНИЕ ТЧК ПРОДОЛЖАЕМ ВЫГРУЗКУ ЗПТ ПРИНИМАЕМ МЕРЫ ШТИВКЕ ТЧК СУДЯ ПО ВСЕМУ ВЫГРУЗКУ МОЖНО ПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ИЗ-ПОД ВОДЫ

ХАРЛОВ

После полудня с далекого матёрого берега скатилась на реку метель...

12

На рейд ТЦК пришли с опозданием против самим же Серояровым назначенного и дважды переносившегося срока — из-за этой неожиданной метели: и ледокол и «Лувеньга» вязли в мешанине сугробов, ледяного крошева и быстро замерзающей воды Великой реки.

Метель прекратилась так же внезапно, как началась, и за далеким еще поворотом высокого берега виден стал огромный столб черного дыма, подпирающий еще не до конца прояснившееся небо. «Неужели „Сосногорск“?» — подумал Леонид Семеныч. Но вскоре по радиотелефону выяснилось, что это просто выжигают со льда — по требованию инспекции водного надзора — незначительную протечку мазута с береговой нефтебазы, — обычное дело.

Вспомнив приятеля своего Василия Алексеевича Фастова, Леонид Семеныч спросил капитана Харлова:

— Ну что там, Владимир Константиныч, эта комиссия наработала? Поделись...

— Да пока ничего, но тенденция такая: виноваты мы с тобой, Леонид Семеныч. Богатов пока молчит, а Минчермет и Минцветмет, не говоря об одесситах, бо-о-льшую бочку на нас катят. Напирают на то, что за температурой мы не следили. А если бы и следили, так что — не загорелось бы? Читал радиogramму Любытина? Так что нам и до прокуратуры недалеко, — пошутил Харлов.

— А что, Владимир Константиныч, убытки есть, что ли?

— Да какие убытки! На качество груза комбинат нажимает, а что я сделаю? Что привез, то и сдаю.

— Раз нет убытков, значит, нет и аварии. Нет аварии — нет и прокуратуры.

— Н-да... Вот тут Богатов позвонил... Просит передать: сегодня вас тревожить не будут. Пока швартовка, да то, да се. А завтра с подъемом флага будьте готовы!

— Всегда готовы... У меня на борту время на два часа позади местного, прошлые рейсы и двух недель не заняли, не успеваешь часы вперед-назад переводить. Вот и решили жить между Москвой и Красноярском... Нынче, вижу, этим месяцем не обернуться, конечно.

— Да это пустяки. Пароходы сбережем — и то нам спасибо не скажут...

— Не за спасибо работаем, Владимир Константиныч. Черпают окатыш?

— Черпают. Качнем водичку — отчерпнут. Еще качнем...

— За борт водичку? Я РДО Касимову давал, насчет очистки...

— Да куда ее тут денешь? Письменная подстраховка? Утеплить реку. Позавчера ночью минус тридцать семь было, а у меня вода в трюме, как в тропиках, — плюс двадцать девять...

— А вот тут, действительно, и до прокуратуры нам с тобой недолго, Владимир Константиныч. Такую водичку — за борт! Это же не вода, наверное, а сплошной реактив. Преступники мы.

— Может быть, оно и так, Леонид Семеныч, — но ведь на большом государственном основании! Я вот — как трюма зачищать будем, ума не приложу. Воду досуха откача-

ем — снова же эта пакость возгорится! А?.. В общем, как пишет на шестнадцатой странице «Литгазета», научен горьким опытом — научи товарища...

— Тем и живы, Владимир Константинович. Там у тебя из порта есть кто-нибудь под рукой?

— А что такое?

— Да чтоб в милицию позвонили — рыбаков со льда согнать.

— Так «Ермолаев» уже об этом позаботился. Только напрасно это — как сидели, так и сидят, черным-черно. Так что ты, Леонид Семеныч, форштевнем их осторожненько расталкивай. Корюшка в этом году отменно идет. Если бы не наши окатыши, причал насквозь бы огурцами пропах!

МУРМАНСКА ТЦК КАСИМОВУ СОКОЛ СТАЛЬ ЖГУТОВУ ТХ
СОСНОГОРСК ХАРЛОВУ ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ

ПАРОХОДСТВУ КАПИТАНАМ СУДОВ НЕИЗВЕСТНО И НЕ ТРЕБУЕТСЯ ЗНАТЬ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ ОКАТЫШЕЙ ЗПТ КАКИМИ СВОЙСТВАМИ ОНИ ОБЛАДАЮТ ИЛИ ДОЛЖНЫ ОБЛАДАТЬ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ ГРУЗОПОЛУЧАТЕЛЕМ ЗПТ КАКОМ СОСТОЯНИИ ОНИ ТЕРЯЮТ СВОИ СВОЙСТВА И СТАНОВЯТСЯ НЕПРИГОДНЫМИ ПРИМЕНЕНИЯ ПОЭТОМУ ПАРОХОДСТВО НЕ МОЖЕТ НАЗНАЧИТЬ ПРОВЕДЕНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ ВЫДАТЬ КОММЕРЧЕСКИЕ АКТЫ ЯКОБЫ ИМЕЕМУЮ ПОРЧУ ОКАТЫШЕЙ

ГНАТЮК

Открылась, наконец, и причальная линия Транспортного Цеха с бесчисленными кранами, которые еще не убрали от паводка наверх, на гору, с окутанным парами порыжелым «Сосногорском», с двумя людскими толпами, издали очень похожими на два мола, вытянувшиеся от причала к стрежню реки по краям бухты, которую уже утюжил «Капитан Ермолаев». Значит, корюшка действительно шла, и сидели, значит, сейчас рыболовители страны на льду Кронштадтских рейдов, Невы, Свири и некоторых других северных рек. А для жителей Комбината и его ТЦ корюшку открыла, по легенде, круглогодичная навигация, когда водолаз с ледокола полез под лед у причала менять сломанную лопасть винта и наверху раздалось:

— Да тут же работать невозможно, ребята, рыба стеной прет! Готовьте Федоткина, чтоб он тут меня заслонял, а пока опустите ведерко-другое, я рыбки к чаю начерпаю!

Так избалованные нельмой, муксуном, осетром и прочей «царь-рыбой» труженики Великой реки получили редкостное развлечение на долгожданное после полярной

ночи весеннее время, потому что корюшка особенно густо шла именно вдоль причалов, где были свет и кислород среди взламываемого судами льда и был по краям прочный полутораметровый припай, куда можно было ставить и палатки и автобусы, и люди над лунками висели круглосуточно, не говоря уже о выходных днях, когда прикатывали «поезда здоровья» с Комбината и когда происходило на лед великое переселение народов. Впрочем, прочность пресноводного припая была такова, что можно было бы и «поезда здоровья» подавать прямо к лункам.

...Ни милиция, ни гудки не смогли согнать рыбаков с облюбованных мест, и пришлось, следом за «Капитаном Ермолаевым», двигаться прямо на кромку рыбацкого табора, на палатки, на ледовые хижины, на вигвамы из полиэтиленовой пленки, на снежные стенки от ветра, на костерки и туристские примусы, на сидящих на льду, на стульчиках, на обломках льда, на снегоходах жующих, курящих, пьющих из термосов или просто «с горла» — неколебимых рыболовов. Такой народ тут жил! Вот уже за кормой ледокола, оторвавшись вместе со льдиной, медленно переворачиваясь, погрузилась в воду зеленая армейская палатка, вот за ней следом заскользила оранжевая польская, с сетчатым пологом от комаров, вот пошли под лед алюминиевые складные стульчики, но рыбацкий люд отодвигался нехотя, обтекал корабли, как лед, бросаясь со снастью к воде сразу за кормой «Лувеньги», и судовой кондиционер донес-таки до ее мостика свежий огуречнейший дух. Какой-то замешкавшийся малыш — одна мохнатая шапка — остановил караван, пробираясь перед ледоколом сквозь нагромождения льда, и Леонид Семеныч, следя за ним, подумал о собирающейся замуж дочечке, о давно желаемом, взлелеянном в душе внучке... «Пусть всегда будет солнце... — забормотал Леонид Семеныч, — у разведенного моста...»

Малыш благополучно вскарабкался наверх и затерялся в толпе, ледокол уже обстругивал обросшие льдом причалы, и «Лувеньга» осторожно двигалась следом, форштевнем тоже соскабливая лед со стенки и закрывая обзор обширной рубкой впередсмотрящего, придуманной для головного судна новых рудозовов лично Леонидом Семенычем и тут же прозванной на флоте «будкой Сероярова». Да, народ! прилепит — не отдерешь! Польза от этой будки была уже сомнительной и для самого Леонида Семеныча,

но отступать от идеи, внушенной понятием безопасности мореплавания, Леонид Семеныч не желал, ибо есть принципы превыше прямой пользы. Польза может обнаружиться не сразу или же не обнаружится вовсе, но вред должен быть исключен, конечно.

А отсюда следует, что слова, только что сказанные капитаном Харловым о большом государственном основании как оправдании — да не просто вреда, а уже и как бы преступления, — очень неудобные слова. Леонид Семеныч подозревал, что в мире ходит не так уж мало народу, вынужденного переступать общие для всех законы во имя высших интересов... но оказаться в их шкуре... как бы он не хотел... однако вот пришлось.

ТЦК ТХ ЛУВЕНЬГА КАПИТАНУ
ТРАНСПОРТНЫЙ ЦЕХ КОМБИНАТА НЕ ИМЕЕТ ВОЗМОЖНОСТИ
ПРИЕМА ЗАГРЯЗНЕННОЙ ОКАТЫШАМИ ВОДЫ УКАЗАННЫХ ВАМИ
КОЛИЧЕСТВАХ

КАСИМОВ

МУРМАНСКА ВЕСЬМА СРОЧНО ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ
НАЧАЛОМ РАЗГРУЗКИ ОСВОБОЖДЕНИЕМ ЛЮКОВ НЕМЕДЛЕН-
НО СООБЩАЙТЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСМОТРА ПОВРЕЖДЕНИЙ ТЧК
ДАЛЬНЕЙШЕМ ЕЖЕДНЕВНО ДИСПЕТЧЕРСКИХ СООБЩАЙТЕ КО-
ЛИЧЕСТВО И КАЧЕСТВО ВЫГРУЖЕННОГО ОКАТЫША ТЕМПЕРАТУ-
РУ ЕГО

ЛЮБИТИН

МОСКВЫ ТХ ЛУВЕНЬГА КАПИТАНУ ДЛЯ БОГАТОВА МУР-
МАНСК ГНАТЮКУ

УТОЧНЕНИЯ ПЕРЕВОЗКИ ПОСЛЕДНЕЙ ПАРТИИ ОКАТЫШЕЙ
ЗПТ УЧАСТИЯ РЕЙСЕ ЗПТ ПЛАНИРОВАНИЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ПЕРЕ-
ВОЗОК СРАЗУ ЖЕ ПОСЛЕ ОЦЕНКИ ГРУЗА ТХ ЛУВЕНЬГА СРОЧНО
НАПРАВЬТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЮЖНОГО ФИЛИАЛА СЕСТРИНА
МУРМАНСК ТЧК ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ЮФ КОСТРОМИНУ ПРОДОЛ-
ЖИТЬ РАБОТУ СОСТАВЕ КОМИССИИ

СТАРОСТИН

МОСКВЫ ТХ ЛУВЕНЬГА КАПИТАНУ ДЛЯ БОГАТОВА ЛЕНИН-
ГРАД ГРАФОВУ ОДЕССА ЯРОВОМУ

СРОЧНО ПРОШУ УСКОРИТЬ ВЫПОЛНЕНИЕ УКАЗАНИЯ СТАРО-
СТИНА СРОЧНОМ ВЫЕЗДЕ СЕСТРИНА МУРМАНСК ТЧК ИСПОЛНЕ-
НИИ ДОЛОЖИТЕ

ПЕТРЕНКО

Заявление о морском протесте

Государственному нотариусу ТЦК, 26 апреля

Я, Серояров Леонид Семёнович, капитан т/х «Лувеньга» ММП, приписанного к порту Мурманск, регистровый № ... валовой вместимостью... вышедшего из порта Мурманск 11 апреля с. г. с грузом... в том числе 5892 тонны металлизованных окатышей новой продукции Сокольского металлургического комбината, назначением на ТЦК и прибывшего на ТЦК 26 апреля с. г., заявляю нижеследующее:

На переходе в Карском море 16 апреля произошел взрыв в трюме № 4, груженном вышеуказанными окатышами.

Мною и моей командой были приняты все заблаговременные меры в соответствии с хорошей морской практикой... (Следует перечисление всех предпринятых мер, обстоятельств и действий.)

Однако, несмотря на вышеуказанные и другие меры по обеспечению безопасного плавания в Арктике, названному судну, грузу и любому имуществу мог быть причинен ущерб в результате имевшего место взрыва.

Настоящим заявляю протест против претензий всех лиц или любого лица, чьи интересы могут быть затронуты, и заявляю, что любой ущерб, причиненный названному судну, грузу и другому находившемуся на борту судна имуществу в результате вышеописанного происшествия, будет и должен быть понесен теми, кто, согласно законам и морским обычаям, должен нести такой ущерб, поскольку он возник, как указано выше, не из-за недостаточной заботливости капитана и команды. Настоящим я защищаю как мои собственные права, так и права судовладельца вышеназванного судна против всех, чьи интересы могут быть затронуты.

Капитан Серояров.

— Дымит, сука! — сказал, хлопнув ладонью по закопченному боку думпкара с дымящимся окатышем, розовый от вина или мороза рыбачок-портовичок. — Дымит!

Ему было с чего быть злым: два с трудом добытых отгула потратил он на реку, а в тощем вещмешке за спиной его кроме трех зимних удочек с «приблудой», кружки, фляжки и остатного ломтя вареной оленины лежало в целофановом пакете всего с десяток рыбок: корюшка в реке неожиданно пропала, и баснословный клев, что был еще неделю назад, сменился сплошным издевательством. Однако же не водку пить на льду собираются!

Окатыш дымился наверху, а внизу, в машинных отделениях «Сосногорска» и «Лувеньги», мощные осушитель-

ные насосы выбрасывали из трюмов в Великую реку расплавленную воду, которую Валентин Валентинович Коротков в своей объяснительной на имя председателя комиссии охарактеризовал так: «При взаимодействии с горящим окатышем соленая морская вода становится продуктом восстановления водорода, в результате чего частично образуется гремучая смесь, при реакции закисленного железа вещества с влагой...» (Этой объяснительной своего старпома Леонид Семеныч ходу не дал и заставил под собственную диктовку переписать ее без химико-технологических ухищрений и вовсе не упоминая о том, что происходит в горящих трюмах с морской — на «Лувеньге» или с речной — на «Сосногорске» водой.)

— И без нас с вами, старпом, найдутся, кому положено за водой следить. В системе нашей с вами персональной компетентности это не вода как таковая, а одно из эффективных противопожарных средств.

— Но если не предупредить министерство, при все возрастающем планируемом грузопотоке и неизученности степени любого взаимодействия вещества окатышей, при постоянном затоплении трюмов мы будем изменять естественный состав воды в реке и тем самым нарушать конвенцию о защите окружающей среды...

— У-ф-ф... — сказал Леонид Семеныч, но Коротков упорно продолжал:

— Я на предыдущем судне платил штраф из-за отсутствия записи о сожженных в инсинераторе десяти числившихся за мной картонных ящиков из-под болгарских консервов. Инспектор заявил, что мы их выбросили за борт, а там действительно плавало какое-то картонное мочало...

— У-ф-ф! — повторил Серояров. — Кто не платил штрафов! Тем более — если легко штрафовать. Но сейчас, старпом, речь не об этом. И не об окружающей среде! А о сдаче груза. Например, у нас трансформаторы и электромоторы из четвертого твиндека ржавые и мокрые идут! И о нормальном отчете перед комиссией. А вы, например, мне молекулярные формулы пишете! Но вы, старпом, все это очень внятно должны понимать, если вы, старпом, когда-нибудь собираетесь стать капитаном, конечно!

Последний аргумент пришелся под дых, Валентин Валентинович судорожно вздохнул и исчез, ибо, понятное дело, никем иным, кроме как капитаном, он в своей жизни стать не собирался.

МУРМАНСК ГНАТЮКУ

0800 МСК ВСЕГО ВЫГРУЖЕНО 3770 ТОНН ТЧК СОСТОЯНИЕ ГРУ-
ЗА ТРЮМАХ БЕЗ ИЗМЕНЕНИЙ ТЕМПЕРАТУРА ОКАТЫШЕЙ ПРЕ-
ДЕЛАХ ПЛЮС 25 ТЧК РАЗГРУЗКА ОКАТЫШЕЙ ПРОИЗВОДИТСЯ
МЕРЕ ОТКАЧКИ ВОДЫ ЗА БОРТ ВВИДУ ОТКАЗА ТЦК ПРИЕМЕ ЗА-
ГРЯЗНЕННОЙ ВОДЫ ТЧК НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ ЗПТ ЛИЧ-
НЫЕ СВИДЕТЕЛЬСКИЕ ПОКАЗАНИЯ КОМИССИИ ПРЕДСТАВЛЕННЫ
СЕРОЯРОВ

ОДЕССЫ ВЕСЬМА СРОЧНО ТХ СОСНОГОРСК КАПИТАНУ ТХ
ЛУВЕНЬГА КАПИТАНУ ДЛЯ БОГАТОВА ЗПТ СЕСТРИНА КОПИЯ
МУРМАНСК ГНАТЮКУ ЗПТ КОЛОТОВУ ДЛЯ РАЗУМОВСКОГО ЛЕ-
НИНГРАД ГРАФОВУ МОСКВА СТАРОСТИНУ

ВАШУ РДО 27 АПРЕЛЯ ТЧК ДИДЕВСКИЙ ЛАНДМАН АППАРА-
ТУРОЙ ПРИБОРАМИ ГОТОВЫ ВЫЛЕТЕТЬ МУРМАНСК 29 ТИРЕ 30
АПРЕЛЯ ТЧК ТОВ РАЗУМОВСКОГО ПРОШУ ПОДТВЕРДИТЬ НЕОБ-
ХОДИМОСТЬ ВЫЛЕТА УКАЗАННЫЙ СРОК ТЧК ГНАТЮКА ПРОШУ
СООБЩИТЬ ДАТУ ПОЛАГАЕМОЙ ОТГРУЗКИ ОЧЕРЕДНОГО СУДНА
ПАРТИЕЙ ОКАТЫШЕЙ

ЯРОВОЙ

...На следующий день, а точнее — утро, Леонид Семеныч с воспаленными глазами вернулся на «Лувеньгу» с «Сосногорска», где проходило последнее заседание комиссии (неожиданно подвернулся самолет ледовой разведки, шедший прямым маршрутом на Архангельск и Мурманск, и члены комиссии поспешили воспользоваться оказией, чтобы выбраться на Большую землю к первомайским праздникам).

Председатель комиссии, по-столичному породистый и по-столичному снисходительный капитан дальнего плаванья Богатов в заключение сказал:

— Окончательный вывод сделает замминистра, которому я, по надлежащем оформлении расследования, все досконально изложу. Но и теперь объективно очевидно, что Южный филиал, при нашем попустительстве, поспешил с выводами, основываясь в основном на межцеховых перевозках Сокольского комбината...

— Боже мой, но ведь был же экспериментальный рейс! — в раздражении и гнев заламывая волосатенькие ручки, вскричал представитель Южного филиала Сестрин. — Сколько же это можно, боже мой, повторять?!

— Конечно, экспериментальный, — ответил Богатов, обращая к маленькому Сестрину заторелое («Откуда?» — подумал Леонид Семеныч) лицо с достойным всего его внушительного облика носом. — Боже мой! — тоненько до-

бавил он. — Сколько же можно это повторять?! Комиссия работу закончила!

— Поскольку два новейших теплохода сжечь все-таки не удалось, отвальный банкет предлагаю отнести на счет нашей передовой прикладной науки, — мрачно предложил капитан «Сосногорска» Харлов. — Теперь науке ни радоваться, ни бояться не надо!

— Справедливо, Владимир Константинович, справедливо, — поддержал Богатов. — Пусть раскошеляются! А то жилет тебе, за две последние недели, предполагаю, очень велик стал.

Действительно, роскошный бежевый костюм-тройка на всегда щеголеватом Харлове порядком пообмялся, поскольку он на стоянках предпочитал одеваться по старинке, по-береговому.

— Если бы я снова мундир надел, у меня команда вполне обоснованно за чемоданы взялась бы, — ответил Харлов.

— А как вы, Леонид Семеныч?

— Извините, спать пойду. Вот окатыш выгружу и спать пойду. Счастливой всем дороги, а я спать пойду!

Однако первое, что он обнаружил у себя на борту, — это тишину на четвертом трюме. Оба береговых крана, опустив клювы, отвернулись от «Лувеньги» к порожним думпкарам, и Леонид Семеныч заглянул в трюм. Внизу, близ самого настила, сладковато парила вода, плюхались капли в туман с отпотевшего твиндека, и редкий снежок, сыпавшийся с холодного неба, таял, не достигая этого тумана.

— В половине шестого, грейфер уже настил скреб, началось интенсивное возгорание остатков, — доложил вахтенный третий штурман Юра. — Старпом приказал снова принять воду в трюм, до вашего возвращения.

— Почему же не сгребли окатыш под грейфер бульдозером?

— Штивку грузчики отказались делать. Мы со стивидором бригадира уговаривали, а он говорит: «Я докер, а не пожарник, и такого уговора не было, чтобы в пекле работать, на хрена, — говорит, — мне эти ландыши, гегемон!..» Старшему диспетчеру об этом заявили — без внимания... А он по-домашнему, Леонид Семенович, горит — как газовая плита, только без напора. И блинами не пахнет.

Леонид Семенович поморщился, отметив некую бестактность штурманского доклада:

— А где бульдозер?

— Да вон, так и тарахтит вхолостую под кормушкой. Как гегемон завел, так и бросил. Пересменка.

— Довольно! Они ведь действительно — не пожарники. Но и не рабочие, пожалуй... Хотя бульдозер на морозе тоже не наводишься... Сразу после завтрака соберите команду в курительном салоне.

— Есть! Что там комиссия, Леонид Семенович, наработала?

— Куда конь с копытом... — проворчал Серояров, — наработала... Скажи лучше, кто у нас на бульдозере умеет работать? То-то!

Но ответить на этот неожиданный вопрос не смогло и общее собрание экипажа (боцман Ерошенко, заядлый автомобилист, предложил: «Дайте на бережку, на снежке, потренироваться, Леонид Семеныч, если время терпит»), пока не вспомнили о вахтенном мотористе Коле Андоленко. Извлеченный из машины, Коля подтвердил, поддериывая постромки великоватого ему форменного финского комбинезона:

— Служил, ясно дело, в стройбате бульдозеристом.

Леонид Семеныч оценил Колину скупую на мускулы фигуру:

— В трюм с окатышами пойдешь, Николай Владимирович?

Коля пожал плечами.

— В изолирующем противогазе работать придется...

Коля снова пожал плечами.

— Да в нем же ни черта не видно будет! — взорвался боцман. — Стекла же запотеют!

— А вот ты, боцман, будешь его подстраховывать. Да подбери ему маску точно по размеру.

Воду из трюма снова откачали, своим краном опустили в трюм бульдозер, и Коля Андоленко с боцманом, забросив в конце концов за спину запотевшие маски, сгребали под челюсти грейфера курящийся бледным пламенем окатыш, пока не появились на трапе сконфуженные «гегемоны» из новой смены и не заявили твердо о своих правах на трюм...

МУРМАНСК СРОЧНО ГНАТЮКУ

01052400 МСК ЗАКОНЧИЛИ ВЫГРУЗКУ ОКАТЫШЕЙ ТРЮМОВ 2 ЗПТ 4 ВСЕГО ВЫГРУЖЕНО 5892 ТОННЫ ТЧК ПОВРЕЖДЕНИЙ ТРЮМАХ ИСКЛЮЧЕНИЕМ СООБЩЕННЫХ РАНЕЕ ТАКЖЕ ЧАСТИЧНО ОБГОРЕВШЕЙ ЧАСТИЧНО ОТСТАВШЕЙ ИНТЕНСИВНОМ ПАРЕНИИ КРАСКИ НЕ ОБНАРУЖЕНО ТЧК ПОСЛЕ ЗАЧИСТКИ НАЧАЛИ ПОГРУЗКУ ЗПТ СИУ ПОГРУЖЕНО 4220 ТОНН

СЕРОЯРОВ

МУРМАНСКА ТХ СОСНОГОРСК ХАРЛОВУ ТХ ЛУВЕНЬГА СЕРОЯРОВУ ДЛЯ БОГАТОВА ЗПТ СЕСТРИНА

ПРОШУ СООБЩИТЬ РЕКОМЕНДАЦИИ СЛУЧАЙ ВОЗГОРАНИЯ ОКАТЫША УСЛОВИЯХ ПОРТОВОГО СКЛАДИРОВАНИЯ

РАЗУМОВСКИЙ

«Сосногорск», завершая месяц, снялся в рейс тридцатого апреля, а первого мая началась солнечно-мозглая оттепель, еще более холодная, чем мороз. Половиной экипажа «Лувеньга» явилась на городскую демонстрацию и с красными бантами, прищипленными к заморским курткам замечательными девушками ТЦК, промаршировала по радостной ледяной весенней площади под расходящимся грибом сжигаемой на льду Великой реки протечки.

К вечеру большая часть команды, заранее закупив билеты, отправилась в местное молодежное кафе «Оленьи рога» на смычку с коллективом пушной кооперации, а Леонид Семеныч, абсолютно опустошенный, уснул в кресле перед телевизором, не сняв ни часов, что он обычно в каюте делал, ни галстука, ни парадной рубашки. В свою капитанскую обширнейшую спальню он перебрался лишь после того, как Валентин Валентинович Коротков, по праздникам добровольно правивший судовую службу, сообщил о «полном и окончательном окончании разгрузки окатышей». В постели, полусознательно выключив телевизор, Леонид Семенович снова спал до вечера, пока его не разбудил помполит, чтобы предложить, наконец, элементарно перекусить и испросить согласия на проведение в курительном салоне молодежной дискотеки.

— На судне полный порядок. Только вот наши девчата вчера из «Оленьих рогов» всех моряков на корабль притащили, ни одного местным не отдали, — объяснил помполит. — Надо как-то реабилитироваться.

Леонид Семеныч тупо поднялся, мутно оглядел в иллюминатор безлюдную бухту.

— Какое сегодня?

— Да еще второе только...

— «Налей же в солдатскую кружку... — забормотал Леонид Семеныч, всерьез просыпаясь, — бездельник, кто с нами...»

— А замечательный у нас с вами народ, Леонид Семеныч, — сказал помполит, — драю его, такового, и люблю!

— Народ хороший, что и говорить. «Вышли мы все...» А? «Каким ты был...» А? — Леонид Семеныч ясно уставился на своего помполита. — Что-то я давненько тебя, Федор Лаврентьевич, не видел. Ты где это пропадал?

— Растворялся в массе всеобщего взаимодействующего объема — сказал бы наш старпом...

— То-то! Давненько мы с тобой чайку не пили, однако. Бывало, ненцы в гости к отцу приедут: «Сахар нет? Десяць цясек выпьем. Есь сахар? Ну, тогда пей да пей!..»

Через три четверти часа, побритый и торжественный, капитан Серояров спустился вниз. Музыка в салоне гремела, как и положено дискотеке, большой свет был выключен, однако народ еще сидел в креслах, и лишь дневальная Наталья в одиночку приплясывала посреди салона, а на шахматном и журнальном столиках подозрительно исправно дымился кофе со сгущенным молоком. Осмотревшись, Леонид Семеныч поднялся в лифте к себе, взял в холодильнике две бутылки сухого и затем выставил их в салоне:

— Девушки, только вам!

Девушки взвизгнули и захлопали в ладоши, зааплодировали и другие любители дискотеки.

— Хм, — сказал Леонид Семеныч, — учтите, конечно!

— Учтем, Леонид Семеныч, учтем!..

В разгар дискотеки где-то впереди, в трюмах перед надстройкой, сильно грохнуло, и салон вмиг со свистом опустел. Впрочем, тревога оказалась напрасной: это полупраздничный крановщик ТЦК ненароком уронил в трюм порожний мебельный контейнер.

ОДЕССЫ ВЕСЬМА СРОЧНО МУРМАНСК ГНАТЮКУ КОПИЯ
МОСКВА ПЕТРЕНКО ЛЕНИНГРАД ГРАФОВУ ТХ ЛУВЕНЬГА КАПИТАНУ
ДЛЯ БОГАТОВА

СОТРУДНИКИ ЮЖНОГО ФИЛИАЛА ДИДЕВСКИЙ ЛАНДМАН
ПРИБОРАМИ ВЫЛЕТАЮТ МУРМАНСК РЕЙСОМ 8748 ОДЕССА МУР-
МАНСК 3 МАЯ ТЧК ПРОШУ НАПРАВИТЬ АЭРОПОРТ АВТОМАШИНУ
ВСТРЕЧИ ДОСТАВКИ НА БОРТ СУДНА

ЯРОВОЙ

Это была последняя радиограмма, полученная на «Лувеньге» в пятом рейсе, потому — начинался шестой. Нужно было заканчивать погрузку, и спешить в Мурманск за последней — до паводка на Великой реке — партией окатышей, и везти этот окатыш Комбинату, ибо стране, в свою очередь, нужен был металл.

1984

ПРОГУЛКА

Мачты судов уже светились в дымном воздухе над каналами, когда мы вышли из гаштета — уютной пивнушки на самом углу. Дверь за нами захлопнулась; голоса и музыка зазвучали отчужденно, как в транзисторе.

— Если угодно, теперь на улице вечер, — сказал дядя Федя.

Он тяжело дышал. Пожалуй, мы переусердствовали, запивая пивом шершавый вайнбрандт.

Был вечер, суховатый вечер в конце прибалтийской весны. К ночи холодало, и по улицам к морю начинал течь запах горелого торфа: во многих домах горожане подкидывали его бурые прессованные брикеты в свои индивидуальные водогрейные котелочки.

— Слишком много дыма! — заметил дядя Федя. — Один дом — десять труб. Центральное отопление более прогрессивно. Но — привычка! И экономия, мой дорогой. Экономия — не последнее дело. К-ха, к-ха!

Дядя Федя остановился и утвердил трость в щели между плитами тротуара.

— Кроме того, большая труба каждой котельной напоминает мне крематорий.

Его лицо со щеками мумии на секунду совсем закаменило. Он погладил трость и вскинул правую руку.

— Чем выше, тем лучше тяга! Зиг хайль, мой друг!

Пошатнувшись, он выдернул трость и двинулся дальше.

Фонари мягко зажглись наверху, за почти незаметной сеткой новорожденной листвы. Аккуратная травка на газонах лежала, как пепел. Шаги гулко отдавались в стенах узкой улочки, и зарево городских огней вставало за нами.

— Я покажу тебе один угол, один дом, старый дом, мой дорогой. Там у входа были ступеньки. Теперь их нет. Их сшиб танк. Идем, вот, вот, вот это место!

Дядя Федя остановился и постучал тростью по водосточной трубе на углу темного, как мореное дерево, кирпичного двухэтажного дома. Труба неожиданно мелодично и глухо зазвенела, запела, так что в верхнем этаже раскрылись створки окошка и раздраженный женский голос процарапал воздух:

— Что такое? Что вам нужно?

— Ничего, ничего, фрау Герлах, спите. Спокойной ночи! Это маленькая экскурсия, — ответил дядя Федя.

— А, это ты, Тео! Не стучи так громко, уже двадцать один час, — равнодушно сказали сверху, и окошко захлопнулось.

— Ах, мой дорогой, я опять забыл, что она медная, — засмеялся дядя Федя, — не обращай внимания! Но я люблю ее послушать: так гудела молодость, к-ха, к-ха!

Мы стояли на пути, ведущем к порту. Окна домов, за небольшим исключением, спали, но в конце пологой улочки светлело. Там угадывалось пространство гавани и горели фонари на причалах.

— Смотри, мой дорогой, здесь был вход в дом. А танк застрял здесь и здесь, напротив, в витрине, где опять парики. Значит, вот тут он и горел, понимаешь?

...Чего же не понять, дядя Федя? Запах жженого торфа струится по улице, а когда-то здесь пахло совсем другим и пламя кровяnelo в осколках разбитой витрины, где на манекенах демонстрируются парики.

Шеф мастерской предприимчив в рекламе: на головки хорошеньких пластмассовых девушек он нацепил короткие седые букли, а несколько сморщенных и обрюзгих стариковских голов увенчал задорными женскими прическами, уложенными в лучших салонах центральных улиц. Игривые фигуры странно смотрят на перекресток, где трудно было развернуться тяжелому танку...

— Почему ты говоришь: опять парики?

— Они были здесь всегда, для женщин и мужчин, только это не было большой модой. Потом хозяин стал делать фуражки, но я этого не видел. Говорят, он тоже напяливал их на манекены. Это было прибыльное дело, фуражки тогда нравились всем.

...Значит, водитель танка даванул их гусеницей. Навер-

ное, он даже не успел разобрать, что это были просто чучела в фуражках, они ведь только промелькнули в смотровой щели. А настоящие — те ударили из того подъезда. Или, пожалуй, из этого, где такие добротные тумбы. И от туда тоже удобно...

— Они все убежали, те, что с «фаустами». Они боялись, что танк их покарает. А им хотелось быть живыми, чтобы кричать: «Гитлер капут!»

Дядя Федя двумя руками оперся на трость. У него хрипело в горле, и видно было, как шевелится плащ на спине между лопатками.

— У нас не принято курить на улице. Это ведь все равно что есть пищу на ходу. Но давай закурим, а?

Он наклонился к огоньку зажигалки. Складки в углах губ и мешки под глазами заскорузли, как кожа сапог.

— У вас еще растет махорка? Если можно, привези, когда соберешься сюда еще раз. Хорошо?

— Ладно.

— Ладно? Что значит «ладно»? А, вспомнил. Не поладим — так это говорилось.

— Где так говорилось?

— А, это моя жизнь... Вот здесь, где были ступеньки, я говорил с Хельгой. Я сказал ей, чтоб она... Она была совсем девочка и пыталась плакать. А я орал, чтоб она убиралась ко всем свинячьим дьяволам! Так было нужно... С этого места я и пошел с побрякушками на руках прямо в гостиницу фюрера... А танк пробивался к порту, где нами хотели набить трюмы старого фрахтера. Оказывается, был приказ утопить нас всех в море, но Гиммлер не виноват, что нас не утопили!.. Видишь, тут стою, сигареты «Каро» курю — «мухам капут».

Можно представить, как тогда, в тридцать третьем, таким же вечером, дядя Федя прибежал сюда и вызвал невесту, постучав по водосточной трубе. Он уже знал, что будет дальше, и у него не было времени скрыться, и единственное, чего он хотел, — не впутывать в то, что будет, и ее.

Она выбежала в серый, пропахший паленым торфом воздух, забыв приличествующую аккуратность, одетая по-домашнему. А он орал, он ругал ее грязными припортовыми словами. Он старался кричать, хотя знал, как от-

кликаются створки окошек на зов водосточной трубы...

— Чего стоишь, мой милый? Пойдем к порту. Тут, по дороге, есть кое-что интересное.

— А где Хельга, дядя Федя?

— Ее не тронули. В сорок втором я получил сапогом в лицо от Вилли, который раньше жил в этом подъезде, видишь, где такие толстые тумбы? Он разбил мне лицо у входа в лагерьный бордель за то, что я его увидел. Когда я лежал, он сообщил мне, что Хельга вышла замуж за Герлаха. А мне было все равно, потому что я не надеялся выжить, хотя и не хотел умирать, у меня к фюреру были свои вопросы. Но Вилли не забыл сказать мне про Хельгу.

О, мой милый! Вот как раз такими они и были, понимаешь? Им было наплевать на всех, но они не забывали ничего из того, что им было нужно! Даже быки служили им! Исправно и до конца, как Тисс и «Фарбениндустри»! Они делали кнуты из бычьих половых органов. Ты бы никогда не додумался до этого, мой дорогой, а? Прекрасные плети! Они приучали не забывать! Вот, пощупай плечо, нет, не здесь, а вот здесь, у шеи. Видишь — как это по-русски? — борозда? Один удар — иросло дикое мясо. О, они это умели!..

Бич из бычьего члена. Пожалуй, до этого не додумаешься. Но я видел его своими глазами, в музее при лагере, за чистым полированным стеклом. Он такой желтоватый, длинный, плотный. И, наверное, вязкий, когда им бьешь по живому телу. Это, должно быть, чудесно, если у тебя к тому же лакированные кожаные сапоги, чистое шерстяное сукно на брюках, расстегнутая кожаная тяжелая кобура на широком кожаном поясе, а на руках тонкие, облегчающие кулак, пружинистые кожаные перчатки! Всю одежду тебе дали животные; а другие животные после каждого твоего взмаха надламывают длинные спины и падают тебе в лакированные ноги, и ты брезгливо видишь сверху их нелепые бледные тонкие шеи... Но это недоразвитые животные, их кожа лопается после каждого удара, как желтая наледь...

— А ты спрашиваешь, где Хельга! В сорок втором фюреру еще везло, и я, мой милый, не хотел умирать, хотя не знал, как выжить. Это было самое плохое время... Там были такие специальные круглые пляцы, такие пятачки,

усыпанные колотым острым кирпичом. Или щебнем. И мы там часами стояли на коленях, а вокруг нас с тяжелыми рюкзаками, тоже набитыми щебнем, бегали топтуны — так они назывались, — которые до упаду испытывали разную солдатскую обувь. Понимаешь, можно было упасть на пятке или броситься на проволоку с током. Это все равно, мой дорогой. На проволоку было бы даже дешевле для фюрера. Они убрали уже двух топтунов, и я захотел падать на свой пляц, когда услышал, как бормочет пленный рядом со мной, на коленях. Он спал в конце нашего блока. Я его помнил. И вот он бормотал, и я подумал, что он сошел с ума. Потом я подумал, что он молится. Потом я стал слушать. Я понял, что он пел песню, и я снова подумал, что он сумасшедший. Но он мне сделал глазом вот так!.. — дядя Федя подмигнул, и мы остановились.

Небо позднего вечера сгущалось над крышами, автомобили на центральных улицах шумели изредка, и только слышно было, как скрипит угольный конвейер в порту.

В стеклах портовых кранов пробегали красные отсветы, как будто это отражался, разворачиваясь, флаг или ветер толчками выдувал еще невидимое отсюда пламя.

— Ну как?.. Давай постоим. Я подышу немного. Все-таки мы здорово разорились на пиво, а? К-ха, к-ха!

Дядя Федя оперся копчиком о трость, уперев ее в угол между панелью и фундаментом дома, и достал флакончик с таблетками.

— Э, не волнуйся, мой дорогой, это не от пива. Это вообще, чтоб я мог жить, понимаешь? Это и вайнбрандт. Нельзя? Мало ли что нельзя! Суть жизни в том и состоит, чтобы делать то, что нельзя... Двенадцать самых здоровых лет я пробыл там, где не место молодым. Я бы и остался там, на кирпичном пляце, если бы не тот, который подмигнул. Он мог так делать! Если бы не это, на моем пепле росли бы цветы, которые не можно нюхать, или овощи, которые не можно есть. Понимаешь?

Чего же не понять, дядя Федя? Я помню эту ровную площадку из квадратных плит, плашмя уходящую в озеро. Над площадкой плачут каменные женщины, а в озере растет жирная трава, плавают большие жирные рыбы и плещутся жирные утки, которых не только не можно есть, но которых не можно видеть, потому что здесь, вот

в это озеро, вот на это место, был высыпан пепел ста тысяч человек...

По переулку послышался дружный стук каблуков, и мимо нас прошел патруль — четверо матросов в касках, с автоматами поперек груди, в тяжелых сапогах и с повернутыми вверх штанинами широченного клеша. Старший вежливо козырнул.

— В сорок пятом нас вели из этого переулка, и многие тут бы и остались, если бы нас не должны были утопить. Нас били прикладами, заставляли поднимать трупы и тащить их дальше, нас толкали дулами «шмайсеров», а пушки стреляли совсем близко...

У кого ты перенял русский говор, дядя Федя? Это ведь у нас так говорят, так придыхают мягко в слове. (Еще за пивом в гаштете дядя Федя сказал: «Жарко здесь, как в бане, пойдём вон». Так и сказал — не «в бане» а «в бане». Так говорила у меня бабушка: байня, баенка; даже, пожалуй, легонько так: байенка. Стопить байенку...)

Мы вышли к площади.

Налево, над стенами судоверфи, сияло зарево электро-сварки, и темные корпуса строящихся судов на стапелях разбегались для взлета. Вторая рабочая смена грохотала железом, заканчивая суточный план, и сотни автомобилей и мотоциклов с выключенным зажиганием последние минуты скучали у проходной.

Справа, откуда вырывался скрип угольного конвейера, мигали огни на железнодорожных стрелках, а за ними, на гребне города, вспыхивала, разворачиваясь по буковке, длинная, как эшелон, фраза: «Да здравствует дружба немецкого и советского народов!»

— Видишь?

— Вижу.

— А теперь иди сюда, смотри, это вот здесь, слева от проходной... Первые уже скрылись в трюмах, и охрана ни разу не выстрелила в нас. Это было непонятно. Но теперь ты знаешь, нас должны были утопить в море, без следа. Фюрер испугался встретиться с нами в земле! Поэтому мы с тем, который подмигивал, тащили с собой мертвого француза. А потом он остановился. Жаль, ты никогда с ним не здоровался. Я думаю, там были одни сухожилия и кос-

ти. Вот там, где сходятся линии, он оттолкнул меня с французом, и мы упали. А он вот так, кольцом, заложил в рот пальцы, свистнул и запел эту свою песню. Слушай:

Дурачок в большой шинели,
понапрасну ноги бьешь, —
ничего ты не добьешься,
дурачком так и помрешь!

Его толкали прикладом, но бесполезно. И тогда один в шинели не выдержал и поднял «шмайсер», и все кончилось вон там, на рельсах. Начальник колонны заорал: «Тихо! Слушать только меня!» Ему ведь надо было всех нас, без убытка, погрузить в трюмы, понимаешь? И стало тихо. И мы слушали. Мы слушали танковый мотор и траки, которые по камням — понимаешь? — к нам, к порту! А потом «фаусты» там, на углу, где мы с тобой были. И тогда мы побежали к охране. Мы все. И мы покончили с ними! И мы остались живы, понимаешь? Только вот...

Дядя Федя отшвырнул трость, схватился за железные прутья портовой ограды, и мы с ним постояли, глядя на то место, где сходятся две до блеска накатанные колеи.

УГЛОВОЙ ГАРНИЗОН

Белая тропа

К летней воде белая тропка зигзагом спускается по траве в ложбине среди серого камня. От входа в бухту сначала виден только камень, оплывший, отшлифованный штормовыми ветрами, потом — провалы амбразур со взорванной маскировкой, потом — эта белая тропа.

Она тянется не только по траве, там еще растет скрюченный приморский кустарник. И если посмотришь в бинокль, в конце тропы видны установленные по квадрату размером с баскетбольную площадку серые столбики. Обрывки ржавой колючей проволоки на них не видны даже в бинокль...

На этой площадке во время прошедшей войны жили советские военнопленные. Им разрешалось также умирать здесь. Хоронили, сбрасывая в море. В море сбрасывался и грунт из скальных выработок, чтобы на берегу не было даже намека на стройку. Там, внутри скалы, капитально оборудовались позиции для скорострельных орудий и торпедных аппаратов, размещались жилые комнаты и склады.

Скала была крепкой, работали много, и ссыпались в воду очередные порции трупов и камня. На площадку пригоняли новых пленных. И никаких построек, ничего, что было бы заметно с земли или с воздуха. Гехайм, тайна. За единственным уступом камня, в сторону ложбины, пряталась небольшая хибарка для охраны. Охрана вдвойне ненавидела пленных: и за то, что русские, и за то, что ей приходилось жить в такой некомфортабельной постройке.

Говорят, никто из этих военнопленных не уцелел. Не удалось и фашистам установить свое железо: десант был стремителен и сокрушающ, но ударные силы прорвались мимо, и остаток военнопленных в соответствии с давно

подготовленным приказом был расстрелян на площадке вслед за вспышкой первых взрывов в глубине гавани.

Охрана исчезла, и очередной эшелон десанта обнаружил стройку тогда, когда стало светло, заметив с прохода нечто наподобие тропки: пленных водили по рассчитанному маршруту, и каждый из них брал с собой из скалы щепоть каменной пыли, большего не позволял обыск, но и этого хватило, чтобы постепенно обозначить путь для своих.

А белой тропа стала позже, когда нашелся в живых один из тех, кого убивала здесь охрана. Длинна история о том, как его разыскали, но он приехал в гарнизон в очередную годовщину десанта.

Старый, но прямой человек недвижно стоял на корме комбриговского катера в кружеве погон, фуражек, бескозырок, матросских воротничков и сухими глазами вглядывался в берег. Он никогда не видел белой тропы со стороны и боялся, что ему не подскажет и сердце.

Он узнал ложбину и тропку, но не стал ничего рассказывать. Он упал на колени и гладил ладонями поросшую редкой травой и мхом тропинку. Потом он поскреб пальцами сероватую почву и сказал, показывая всем:

— Моих... здесь... четыре щепотки...

Эту тропку теперь каждый год подсыпают каменной пылью прибывшие в гарнизон и еще не принявшие присяги новобранцы. Она ведь сама по себе присяга, эта белая тропа.

Песчинка

В ботинок Меркурьева она попала весенним утром, по дороге, на самом выходе из дому. Он несколько раз собирался остановиться, снять ботинок и вытряхнуть ее, но время поджимало, впереди спешили к причалу несколько офицеров, среди которых он опознал дивизионного минера и флагманского связиста. Неудобно было являться позже них, да и сама эта остроугольная песчинка в те мгновения, когда Меркурьев замедлял шаги, выкатывалась в сторону и переставала колоть ногу.

Так Меркурьев добежал до штаба, то почти на цыпочках, потому что песчинка была тут как тут, то почти оставившись. На первой половине пути он бессловесно, но тем более свирепо изругал себя за затянувшееся проща-

ние с женой, а во второй части дороги предстоящая торпедная стрельба сама собой отодвинула беспокойство о том, как жена доберется до аэропорта да как пройдет у неё отпуск.

На причале, между штабом и своей лодкой, Меркурьев встряхнул ногу и загнал, наконец, песчинку в дальний угол ботинка. Словно поняв, что проиграла, она не досадила ему больше — ни пока он внимал старпому, ни пока уточнял обстановку у оперативного дежурного, а затем выслушивал энергичные наставления командира соединения и, с легкой примесью тоски приняв на борт почти весь состав штаба, выходил в полигон.

Песчинка возникла снова тогда, когда он подвсплыл под перископ, чтобы перед поиском цели выяснить, как дела наверху.

Море со всех сторон накрыло редким туманом, зыбкое кольцо горизонта едва угадывалось невдали. Последняя капля сползла с неба в воду, и Меркурьев увидел острый форштевень цели, направленный на перископ. Цель приближалась, идя противолодочным зигзагом. Пенные крылья большого хода вскидывались над волнами, но акустик бодро доложил, что горизонт чист. Тогда-то песчинка и впиалась в пятку.

Меркурьев повертел перископ, стараясь ступить на свободную ногу, несколько мгновений поразмышлял о том, какая же это может быть стрельба, если видимость ухудшается, цель на невыгодном курсовом, а гидрология моря вообще ни к черту не годится... пристукнул носком ботинка в гремучий настил центрального поста, чтобы согнать с больного места треклятый кусочек камешка, и тихо и яростно сказал:

— Торпедная атака!

Отщелкали на переговорном пульте доклады, прошел отсчет замеров, лодка на необходимой глубине лежала на боевом курсе, и Меркурьев, словно ведя перископ, в последний раз оглядел всех, кто помогал ему рассчитывать атаку: штурмана в пилотке, надетой как папаха у Чапаева, поперек головы; потного простоволосого старпома с расчетными листками в руках; мальчишку — торпедного электрика, от напряжения и ответственности высунувшего язык у торпедного автомата стрельбы, — их и всех других, замерших в азартном ожидании, и тогда выплюнул:

— Пли!

Торпеда ощутимо оттолкнула лодку, акустики поймали и торпеду и цель и начали отсчет направлений и дистанций. Слушая мерные выкрики цифр, означавших, что торпеда и цель удаляются от лодки и неотвратно сближаются между собой, и удивляясь тому, как это успела организовать атака, Меркурьев снова нащупал подошвой ступни песчинку.

— Ага, ты еще здесь, настырная! — обрадовался он. — Значит, вместе домой пойдём?

«Губа»

Деревянные ступеньки, по сторонам обросшие цветущим иван-чаем и белесыми дудками, на повороте переходят в странно выщербленную неширокую дорожку. Дорожка не дорожка, а просто длинная извилистая плешина рыхловатой, на вид известковой, скалы. Она вся исторкана будто бы женскими туфельками на шпильках. Но это следы конских подков.

Спуск, ручеек в ладонь шириной и с мизинец глубиной, а дальше вверху стена из булыжников, скрепленных каменной крошкой на цементе и обложенных свежим дерном.

Часовой с сухопарым автоматом Калашникова на груди, с подсумком через плечо, по полной выкладке, останавливает движением оружия поперек дорожки и вызывает помощника начальника караула. Пока тот спускается от беленого, как украинская хата, торца барака, часовой, расставив ноги, с ясной мальчишеской насмешливостью оценивает топчущегося Казанкова. У Казанкова под мышкой сверток шинели, и мичман, сопровождающий его на гауптвахту, разглядывает веснушчатые уши подопечного, вздыхает, достает из кармана записку об арестовании.

— Эх ты, Казанков, — шепчет мичман, — такая работа завтра, а ты — в этом заведении.

— В переводе с немецкого, товарищ мичман, гауптвахта — это главная вахта, — не глядя на мичмана, отвечает Казанков, однако веснушки его тонут в рыжевatom румянце.

— Эх ты, Казанков, — повторяет мичман и, козырнув, протягивает записку помначкара.

— Иди, — коротко сказал караульный старший сер-

жант, и Казанков побрел за уверенными сияющими сержантскими сапогами.

Вот и беленая стена и непомерно широченная входная дверь, дальше — влажный, только что прошвабранный неровный пол из толстущих досок. Терпкий запах карболки и толстой кожи охватывает Казанкова.

Старший сержант отбирает у него шинель и широкий флотский ремень. Приходится поддерживать штаны, и руки Казанкова сами прижимаются к бокам.

— Зачем вам это понадобилось, Казанков? — спросил подошедший дежурный, — это же вы пушкарь из десятого экипажа?

Казанков слышит его ломающийся тенор, и ему невозможно поднять глаза: с этим старшим лейтенантом Казанков ходил в начале года расстреливать всплывшую, военных лет, мину. Хорошо они ее раздолбали тогда — со второго выстрела, — небо подскочило!

— Так. Ну что же, идите к себе в камеру, Казанков...

Целый час Казанков смотрит в зарешеченное оконце. Там над краем дерновой стены поднимаются далекие неясные, как облачка, корабельные дымы и вспыхивают искорки чаек.

— Вот это я дал... — медленно дует на стекло Казанков, стекло тускнеет, запотеваает, и не видно уже ни птиц, ни дымов, ни даже дерна на стене.

С работы приводят еще двоих. Один садится на скамью лицом в угол, скамья узкая, как жердочка, и он сидит на ней нахохленный, как птица под дождем. Второй берет Казанкова за локоть.

— Новенький? А я уже по третьему разу, — хвастается он, и на душе у Казанкова становится не того, потому что так говорят старослужащие — «а я уже по третьему году!»

Второй продолжает:

— Не вздыхай, керя, здесь тоже жизнь. Будут на кроликов посылать — топай без слов. Комендант крольчатню развел — класс! Щипли с ними травку да гладь их за ушками... Конечно, крольчатинки в суп не жди — она вся в госпиталь идет. Зато на воздухе. Вечером выдадут тебе самолет из двух досок, сна врежешь — будь спок! Ноздри только не раздувай, тут раньше конюшня была. И на этого

жлоба не смотри — он у нас неженка, ему тут не спится. Глянь, горюет, — храбрится второй, — а мы с тобой тут отбарабаним, еще гульнем, а?

Казанков посмотрел в его лихорадочное лицо, выдернул руку и сказал убежденно:

— Брось врать! Насчет погулять потеряем до свадьбы!

Грибы

Этот сторожевик заскакивал сюда всегда неожиданно. Он просил одно и то же: место у причала на два часа, топливо, продукты и пресную воду. Место и топливо находились, вода из питьевого озера текла исправно, продукты согласно перечню бывали почти все, ну а на нет — и нач-прода нет.

Сторожевик швартовался, матросы отходили от мест, не зачехляя пушек, и начиналась стояночная суэта: одни протягивали шланги, другие отправлялись за продовольствием, третьи — получать смазочное масло. К тому же обычно с началом приема воды объявлялась генеральная стирка и помывка, так что хлопот хватало. Лишь вахтенный у трапа с грустью посматривал через причал, где захлебывались от восторга, забавляясь рыбалкой, пацаны из подплавского поселка и деды с гидрографических ботов.

Мальчишки бушевали при каждой рыбине, а старики отбирали себе что почище да покрупнее. Их-то рыбой не удивлять стать: пока облазают побережье, зажигая-гася маяки, да еще подробнее — с промерами, — всякой рыбы изналовятся. Ни сигом, ни форелью, ни даже, к примеру, семгой их не удивишь.

Однако с ребятишками у них на причале дружба, рыбалют сообща, чтобы никому обидно не было, когда рыбу делить начнут. И не зря с грустью косится в их сторону вахта у трапа, ей тоже рыбу поудить смертельно охота...

Еще суровее этот сторожевик становился в начале осени, когда по окрестным склонам к бухте лилось березовое золото, взбрызнутое кое-где осиновым багрянцем. Сама вода в это время и то золотеет, а корабль с моря все равно приходит серый, водой и ветром исхлестанный, и только флаг на нем пылает чисто по-летнему.

А по дорожке, протекающей выше причалов, люди несут грибы.

Дед Захаров с гидрографического бота однажды открыл дверь своей рубочки, понаблюдал за швартовкой сторожевика, раздувая ноздри бугроватого носа, потому что тянуло снизу — из каютки — упругий аромат смородинового листа и укропа, и не утерпел. Постоял дед с минуту — ровно столько, сколько понадобилось сторожевику на швартовку, — заправил отросшие за лето седые патлы под седую мичманку и вышел на причал.

— Эй, — позвал он, задрав голову к мостику сторожевика, — командир! Можно на минутку?

Молодой, одетый в чистую тужурку с галстуком, капитан третьего ранга глянул вниз, коротко и холодно спросил:

— Тебе чего, отец?

— Да я что говорю! Давай я своего матроса глядеть за водяным шлангом поставлю. И еще того лучше — заведу свою колымагу, ботяру, значит, и айда на топливный склад за бочками. А ты отпусти ребят по грибы, что же они у тебя опять казенной гречкой давиться будут?

Командир не отвечал, похлопывая снятыми перчатками по обвесу мостика.

— Вкруг земли крутитесь, сам видишь — краса какая! Грибов нынче пропасть, — агитировал дед.

— Мы тут мест не знаем... — замялся командир.

— Укажу я вам место, через час в грибах будете! Пра слово, ребят жалко.

— Ладно, отец, сейчас механик к тебе придет. Заводи моторы. Только, знаешь... расплачиваться мне нечем.

— Вернешь через государство, — заколыхался дед, — давай сюда старшего, кто по грибы пойдет, я ему маршрут объясню...

...Когда через полтора часа дед Захаров швартовался обратно, с палубы, уставленной ящиками и бочками, на причал спускались матросы с ведрами и полиэтиленовыми пакетами из-под консервированного хлеба, полными грибов. Рябили в глазах рыжие да красные шляпки.

Командир сторожевика сам принимал захаровские швартовы. Он поднял к виску четкую руку в черной перчатке:

— Ну, спасибо тебе, отец, за праздник!

— Валяй, валяй, командир, — ответил дед Захаров. — У меня у самого два сына знаешь где служат?

О разводе

Солдаты с серебряными буквами СА на черных погонах в день увольнения ходят по городку с генеральским достоинством и элегантностью лейтенантов флота. Еще бы: все окрест — их рук дело.

Таких солдат не хочется называть старым рецидивистским словом: стройбатовцы. Военные строители! И форма у них современного покроя, и руки рабочие, и обстановочка сами видите какая: землянок нет, времянок нет, финских домиков — наперечет, база — сплошь камень, бетон, сталь, стекло. Впрочем, деревья тоже хватает.

Как в детстве, воодушевляет ежеутренний развод строительного батальона на работу. Марш начинается еще до того, как засверкает в воротах меднотрубый оркестрик. Форма не для парада — зеленые кацавейки с мятыми погонами, сапоги, пилотки, надутые романтикой галифе. Но музыка! Именно под такую происходило все неповторимое в жизни: первый пионерский парад, и встреча с Гагариным, и проводы на службу. Оркестрик в две трубы и флейту с барабаном поднял гарнизон по-солдатски рано, и пока звучат прощанья на пороге, сапоги солдат грохочут по дороге!

«Поротно, по объектам... шаам!.. марш!» — и одни налево, другие направо, лишь музыка в прибрежном распадке — одна на всех до самого конца. Замыкающий низкорослый солдатик, которому достается носить в конце строя предупреждающий красный флажок, стоп-сигнал, спотыкается на распутье. Наверняка ему хочется шагать прямо, потому что именно туда, к морю, уносится оркестровое эхо...

Кафе «Аэлита» открыто недавно и функционирует трижды в неделю. Голубая девушка со стены через головы сидящих вглядывается в морозящую мглу осени. Решивший не сдаваться до весны, остатний листок вздрагивает на придорожной осинке, а дальше — узкий луг, а за ним — проточное озерцо, в которое смотрятся дома. Пасмурная тишина. За спиной говорит электрогитара, ей помогают четверо ребят в зеленых рубашках. На пластиковом столе в керамическом горле кувшинчика вздрагивает мокрая сосновая ветка.

На той стороне стола сидит усастый майор, ерошит ко-

роткие волосы, лицо его распарено и благодушно, но чего-то майору не хватает. Чего ему может не хватать при его сравнительно молодых годах, квадратном дециметре орденских ленточек на левой стороне груди и плотно уставленном столе?

— Нет, ты мне все-таки скажи, дорогой товарищ, — начинает майор, — как это понимать? Дом этот мы строили, и тот дом, и тот. Аэлита эта тоже наша, — как на живую, кивнул он на космическую девушку. — Стол этот я доставал, — хлопнул по пластику, — э, да что говорить — оркестр, видишь, и тот наш. Им по утрам народ будим! Не жалко, ничего не жалко, дорогой товарищ! Но ты мне, пожалуйста, скажи, где у них сознательность? Мы с этим домом как бились, цемент, понимаешь, на руках застывал. А для чего? Да для того, чтобы сдать его к Первомаю. А вот теперь, дорогой товарищ, ты мне скажи, зачем я своих орлов в атаку на этот дом поднимал, если они, — майор ткнул кулаком вверх, в жилые этажи, — если они уже два развода оформили!

Баня

Вы географию, конечно, помните? Так вот, если провести прямую от Москвы до нашей батареи и продолжить ее далее, то сразу за батареей будут наши территориальные воды, через двенадцать миль — открытое море, за морем — сопредельное государство. Об этом полагается помнить.

Устроились мы неплохо, служить можно. Радиолокационные расчеты со своими вертушками повыше, к звездам поближе, ракеты в соответствующем месте, хозяйственные постройки, жилой фонд и такое прочее — внизу, в долине, и от моря горкой прикрыты. В любой зимний шторм тут порядок, одна беда — снегу наваливает столько, что вездеход пробивается в нем, как угольный комбайн в штреке.

Летом суеты больше, но все же легче. Дело в том, что дороги к нам нет, все грузы только по воде, пароходом. Море потеплеет — держись! Отпускники едут, дети, офицерские жены туда-сюда, сверхсрочников хозяйки... Но это лирика. Вот когда уголек пойдет, техника, дровишки! К тому же машины за зиму замерзнут — их везем

отдохнуть в стационаре, а взамен — другие нам. Короче говоря, аврал неделями беспробудно. Но все-таки весело: солнце светит, трава растет, сосенки в ложине стрелки выбрасывают, бывает, когда-никогда выкупаться можно. Потом — ягод, грибов заготовка в порядке отдыха. И это все на фоне основной службы. Так и вкатишься с разгону прямо в зиму.

Зима, понятное дело, — длительно действующий фактор. На море коли льда нет, так шторм, а ветер кончится — сразу забереги. Как берег снегом заносит, я уже докладывал.

Вот и дел: дежурство, вахты, уход за материальной частью и действия согласно распорядку дня. Да еще тревоги. Вечерами кино да телевизор.

О телевизоре — особо.

Я вам прямо скажу: не только на гражданке из-за телевизора в домашнем хозяйстве разлад, иной раз и нашего брата за уши от него не оттащишь. Девушки там — качаешься! Откуда такие берутся? Ну мы, кто послужил, понимаем обстановку, а некоторых, между нами говоря, тамошние блондинки замучали.

Посмотрел-посмотрел наш замполит в прошлом году на это дело и спрашивает:

— Вы, ребята, чего это слюни распустили?

— Никак нет, товарищ капитан, — отвечает один из второго расчета, а у самого губа аж до полу отвисла.

— Что никак нет? Вот смотри, Семенов, третий день тебя в грязном подворотничке вижу, и третий день ты у телевизора торчишь!

Насчет грязи наш замполит не брезгливый, но чистоту любит до хруста.

В результате для части личного состава на лето заготовка ягод-грибов была отменена, а вместо этого кто плавниковые бревна собирал, кто сруб рубил, кто березовые веники ломал, кто булыжники в печь вмазывал под личным руководством замполита. Он даже в отпуск потому не поехал...

Получилась, докладываю, баня! Сам я из Кузбасса, но таких бань, полагаю, на всей Руси наперечет найдется. Идейная баня, докладываю, точно!

Календарь у нас теперь от бани до бани идет. После плотной недели с веником напарисься — да в снег, из снега — в парную. Намылся — ни зимняя зевота, ни фарин-

гит не берет. Смотрим ли телевизор? Поглядываем... Семенов и тот понял, что не в сопредельных блондинках дело. Босвая готовность? Первое место держим. И все из-за бани! Думаете, байки травит сержант Бондаренко? А вы сегодня вечером сами попробуйте, полсугроба специально для вас нетронутым оставим.

Угловой гарнизон

Когда море сталкивается с берегом, летят зеленоватые искры. Издали, вместе с пеной, они кажутся почти белыми. Но это не так. Подойдешь ближе — и разглядишь оттенки цвета, так же как в шуме прибоя начнешь различать гудение волны, шелест пены, звеньканье гальки и шорох обсыхающего песка. Крутой вал падает, рушится, кромсает побережье. Взлетают вверх водоросли и песок, подкрашивают воду.

Сверху, с поста наблюдения и связи, полоса прибоя словно живая. Даже если на море штиль, до горизонта ни гребешка, внизу сжимается-разжимается переменчивая лента, словно это дышит разлом между массами воды и суши.

Разлом и есть. Там, внизу, плещется наше море, но дальше — море для всех, и внутри того безликого моря разменивают стартовые квадраты отяжеленные смертью субмарины, одного плевка которых хватит, чтобы прекратить жизнь на Земле.

Но пока ты здесь, наверху, один, наедине с природой, — стой, если тебе не сидится, и любуйся безмятежностью мира. Но!..

От оператора радиолокационной станции поступает доклад о приближающейся надводной цели, вахтенный сигнальщик наводит по указанному направлению бинокляры и вскоре видит, что на нити горизонта завязался узелок. Потом узелок разрастается, вытягивается к зениту треугольничком мачт. Кто же это? Электроника докладывает: свой. Ничего, подойдет — прожектором проверим вызванные.

Вахтенный в юношеских прыщах, наголо острижен, ему очень хочется включить сейчас «маг» и прокрутить последнюю ленту с Валерием Ободзинским, однако он продолжает вращаться в своей шестиугольной светелке высоко над миром, и его тяжелые яловые сапоги слышны внизу, в кубрике, подвахтенной смене.

Корабль между тем совсем близко. Отчетливо видно, как он буйно разбрасывает окрестное море. Проходит обмен позывными, и вахтенный вверху, на скале, слышит впечатляющий до озноба свист: то ли стонет распарываемое море, то ли корабельные турбины возвещают о своей мощи.

Исчезают за поворотом комендорские шлемофоны у счетверенных универсальных пушек, за ними — воткнутые в небо стартовые направляющие для ракет, затем, ниже, — рассыпчатый горб кормового буруна, взбудораженное море раскидывается по камням, и корабль входит в гавань.

Такого здесь еще не видали, и все смотрят, как он швартуется: и Меркурьев с узкой, как шпага, палубы своей лодки, и строители нового здания, и дед Захаров из тесной рубочки бота, и компетентная группа подростков за год пацанов из поселка. Старший матрос Казанков, оттолкнув замешкавшихся, заносит стальной огонь швартова на причальную тумбу, делает кулаком «рот фронт» в ответ на боцманское одобрение и безразлично отходит в сторону. Затихает турбинный свист, корабль успокаивается на швартовах, в базе наступает тишина, и тогда все испытывают одно и то же спокойное, почти обыденное удовлетворение, словно этот ракетоносец был в базе всегда...

Сегодня небольшая часть экипажа, возможно, сойдет на берег подышать травяным настоем, наломать охапки лилового иван-чая, пройти по каменистым тропкам наверх, откуда корабль будет виден, как с вертолета.

Сегодня среда, и, может быть, кто-нибудь попадет в кафе «Аэлита». Там в углу, наискосок от оркестрика, будет сидеть молодая женщина с подсиненными, как у Аэлиты, глазами. Она живет в этом доме на третьем этаже, и она одинока.

В окно кафе видна шевелящая пепельными листьями осина, а за нею вода, в которую смотрится гарнизон...

Почему мы называем его угловым? Он наверняка не самый северный, самым западным его тоже не назовешь, равно как и самым восточным. И четвертные румбы подбираются к нему неточно. Да и зачем путаться в понятиях? Когда в старину строили крепости, не все башни ставили в стену в ряд. Задумывали и возводили угловые, которым доставалась двойная ратная работа: не только стоять за себя, но и защищать подступы к соседям по крепостной стене. Вот потому и наш гарнизон — угловой.

1972

НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ

I

Вообще-то, по графику, Гавриле Тебенькову в ту субботу не было надобности — и не хотелось — покидать дом родной. Однако вышло так, что он поссорился с тещей, рассчитав ей на спор пасхальные праздники на всю двенадцатую пятилетку.

Теща Раиса Ивановна была не только набожна (то есть верила в бога), но и богомольна (то есть ходила в церковь), а Тебеньков, в свою очередь, был не только сведущ (в мореходной астрономии), но и упрям, и беседа их над испещренным листом бумаги закончилась так:

— Нету в вас божественности, Гаврил Гаврилыч, а одни бесстыжие формулы. Дали бы вы мне помереть спокойно!

— Хо! Да зачем же помирать, Рай Иванна! Хотите, я вам еще внука сотворю?

— Совсем вы развинтились, Гаврил Гаврилыч! Ленка и так восемь раз страдала по вашей кобеляжьей милости! Сами небось дед. Тьфу!

Теща оборотилась в красный угол, где должен быть пресветлый лик Иисуса, но висела оскаленная негритянская маска, вывезенная Тебеньковым из далекого Мозамбика, и повторила:

— Тьфу! А еще записки получаете...

— Какие записки?

— Как же! Наши начинания! — с отвращением произнесла Раиса Ивановна. — Ваша Е. Панова!

— Хо, так то же у нас в парткоме зав лекторской группой! Не ожидал от вас, Рай Иванна...

— Да уж где уж там, Гаврил Гаврилыч! И в парткомах бабы, поди, тоже не каменные сидят.

— Рай Иванна, Рай Иванна, — укоризненно сказал Тебеньков, однако краснея и вообще начиная немного сда-

вать, — вы чрезвычайно преувеличиваете мои возможности!

— Вы лучше в зеркало на себя покрасуйтесь, Гаврил Гаврилыч, — ответила теща и достала из кармашка передника записку, — вот, на письменном столе валялась, от собственной дочери прячу!

Она промокнула нос и глаза углом передника и бесшумно заторопилась на кухню — старая, уже очень старая женщина, и Тебенькову почему-то стало очень стыдно перед нею, и, пройдя следом, он выдернул вилку телефона в прихожей (название это было громковато, ибо это пространство Тебеньков занимал собою целиком и потому предпочитал именовать его предбанником, особенно когда являлся пред очи жены и тещи чуток по-винным или же винно-ватым) и понес телефон к себе в комнату. Ну, Евгения Николаевна! Снова из-за вас сплошные траблы!

«Гавриил Гаврилович!

Вы, кажется, совсем забыли обещание. Время не ждет. Мы можем не успеть оформить наши начинания. Как тогда мы будем выглядывать в глазах всего города?

Ваша Е. Панова»

Тебеньков, поразмыслив, достал с книжной полки папку вишневого цвета с эмблемой Регистра Ллойда и надписью: «Информация об остойчивости и нагрузках» (в этой папке Тебеньков хранил все свои депутатские, активистские, шефские и наставнические бумаги), вложил — демонстративно сверху — в папку записку. Еще поразмыслив, он взял авторучку и наложил на записке резолюцию: «Срочно привлечь к делу Союз художников». Поразмыслив по третьему витку, Тебеньков начертил несколько подобного тона резолюций, адресованных самому себе, на нескольких других документах и, оставив папку раскрытой, включил телефон.

Надо было выяснить, где нынче обретается давний приятель художник Коля Кондратьев, который сам, конечно, за оформление задуманной в порту наглядной агитации ни в жизнь — даже если будет подыхать с голоду — не возьмется, но, может быть, присоветует толкового дизайнера. И дернула нелегкая обмолвиться при Евгении Николаевне о знакомстве с художниками!

Работы в порту не ожидалось, Союз художников безмолвствовал, на квартире у Кондратьева телефон не от-

вечал, и Тебеньков с досадой, но решительно оделся: вельветовая фирменная куртка, берет, брюки по случаю из одного гарнизонного универмага, желтые ботинки на могучем черном рубце.

Выйдя в проулок, Тебеньков зажмурился: в ближайшем школьном сквере и по сопкам, вздыбленным в небо за домами, безумствовало бабье лето, так, как оно изредка может безумствовать только на Севере. Напряженное, налитое золото и тяжелый багрянец листвы оплавляли прохладный воздух, и глазам Тебенькова враз стало весело, а душе — грустно.

Однако зажмурился он не только по причине осени: на углу школьного сквера стояла младшая дочь, Светка Тебенькова, шевелила блестящей туфелькой успешную опать листву, и шейка ее задумчиво смуглела над белым школьным воротничком. Рядом со Светкой возвышался узкоплечий рукастый вьюнош в изрядно измятой одежде, со своим и со Светкиным портфелями в левой руке.

Давно ли, казалось бы, каталась она на роликовых коньках по пестрой авеню Мао Цзэдуна в Мапуту, распевая: «Канимамба ФРЕЛИМО!» — на языке местной народности тонго, в коротком платье, гольфиках и с ободранными коленками, и — нате вам! — провожанье! Провожальщик, видать, большой тактик: Светка при нем на своем портфеле, как на якоре.

Тебеньков начал пятиться за дом, но Светка внезапно обернулась (чуткая — в маму!):

— Ты куда это, папуль?

— Хо... Куда... По общественным делам. Надо художника найти, наглядную агитацию для порта оформить...

— Это Кондратьева, что ли? То-то ты в берете...

— То-то ты в кружевах.

— То-то ты в «фирме».

— То-то ты в лакировках.

— То-то ты в К-701!

Так она называла замечательные тебеньковские ботинки — по имени трактора Кировского завода, и Тебеньков пошел козырной:

— То-то ты с провожатым!

Вьюнош вовсе отвернулся и стал как бы вдвое ниже, но Светка не растерялась и сделала Тебенькову нос. Однако не в долгу же оставаться!

— Домашнее задание выполнить не забудь!

— А ты за грибами не забудь съездить...

Тебеньков рукой поприветствовал находчивых (и не очень) представителей юного поколения, дворами вышел на улицу Полярные Зори, за гастрономом пересек улицу наискосок — прямо во двор Дома художников. Красивая девушка Вера из подъезда, где размещалась мастерская Коли Кондратьева, в ослепительной блузке-монокини и джинсовом комбинезоне на молниях, выколачивала на перилах крыльца огромный ковер.

— Хэлло, Гаврила Гаврилыч! — поздоровалась она прежде, чем успел это сделать Тебеньков, — вас не затруднит — ковер поднести?

— Хэлло, my darling, — ответил Тебеньков, — по problem!

Вера радостно перешла на английский: она работала переводчицей в «Интуристе» и не упускала случая попрактиковаться хотя бы на лоцманском уровне. С Тебеньковым они были давние (с ее дошкольных лет) приятели, но Тебеньков однажды, спускаясь слегка размягченный из кондратьевской мастерской, с грустью сказал ей при встрече, погладив ее по голове, как ребенка:

— Почто не возбуждает Вера во мне надежды на любовь?..

— Да вы поэт, Гаврила Гаврилыч! Но зачем вы меня обижаете?

— Я не поэт, бэби, я ломовой извозчик по государственному найму...

Они обменивались журналами и книгами на английском, и, отвечая по дружбе на письма Вериних родителей, Тебеньков неизменно, ни на чем, впрочем, не основываясь, отмечал ее высокое политико-моральное состояние.

Пока он с ковром под мышкой в два шага преодолевал пролеты до третьего этажа, Вера, торопливо перестукивая каблучками, успела ему сообщить, что Николай Иванович вышел из запойной работы, что сегодня у него в мастерской вернисаж для своих, что она, Вера, попутно приглашена тоже, но раз попутно — естественно, она не пойдет, хотя обещано что-то необыкновенное, и вообще...

— А что с пылесосом? — сурово спросил Тебеньков.

— Сломался.

— А когда родители пожалуют? Пора бы им тобою вплотную заняться!

— К ноябрьским приедут... А что произошло, собственно? Почему мною надо заниматься?

— Потому что разорительно хорошеешь — а не замужем. И это в самом мужском городе страны!

— Мурманск — проходной двор, Гаврила Гаврилыч. В каком-нибудь уездном городишке меня бы уже давно не только замуж — меня бы уже давно обременили и детишками обременили.

— И правильно бы сделали! — по-прежнему сурово сказал Тебеньков.

— Конечно, правильно, — настолько искренне ответила Вера, что Тебеньков остановился, оглядел ее сверху (видна была «мальчиговая» прическа, янтарные сережки, свободная грудь в вырезе блузки и вроде бы красивые лямки комбинезона) и отдал ей ковер, поскольку была уже ее площадка.

— К тому же с большим вызовом одеваешься, бэби.

— Ах, Гаврила Гаврилыч, женщина только для того и одевается, чтобы раздеваться!

— Что-то новое у тебя... Выросла, что ли?

Этажом выше он перегнулся в проем, пока она возилась с дверью:

— А ты приходи. Может, и впрямь что занятное...

2

Коля Кондратьев, заросший, как бог Саваоф (он утверждал, что природа знает, что делает, и если уж наградила мужчину усами и бородой, то в этом и есть предначертанное свыше естественное проявление естественной мужской красоты), расхаживал, поблескивая сквозь очки веселыми медвежьими глазками, с любимым томиком «Восточных афоризмов» и вдохновенно рассуждал:

— ...Потому что ислам делит все человеческие поступки на пять категорий. Первая: обязательные поступки. Вторая: рекомендуемые. Третья: дозволенные. Четвертая, прошу обратить внимание: неодобряемые (но не наказуемые!). И, наконец, пятая: запрещенные — наказуемые. Емкая система, не правда ли? Но как быть с поступками непредсказуемыми, на которых стоит художественное понимание мира и жизнь сама по себе?

На стогодном кожаном диване в углу мастерской, перед заляпаным красками журнальным столиком

с изысканно-нехитрой сервировкой (горка ржаных сухарей, а в одной из чайных чашек, той, что поголубее, Коля Кондратьев обычно отмачивал акварельные кисточки) в ореоле медных заклепок покуривали: незнакомый Тебенькову ухоженный военный морячок в чине капитана третьего ранга, Колин и Тебенькова общий приятель журналист Генка Дорофеев с неизменной вишневой трубкой и молчаливая Колина жена Наташа.

— Хо, — начал Тебеньков, — перехожу в ислам, поскольку мне всю жизнь твердят, что поступки могут быть только положительными или отрицательными...

— Проходи, Гаврило, пей перцовку и не перебивай. Дело в том...

— Но все-таки осведомлюсь неловко: зачем сия арт-подготовка? — спросил капитан третьего ранга и представился Тебенькову, протянув ладонь неожиданной для военного человека лодочкой: — Дубровенский, Вадим.

— Дело в том, — продолжил Коля Кондратьев, — что я сам — и вы в этом убедитесь! — совершил непредсказуемый поступок...

— А куда Наталья смотрела? — спросил Дорофеев, склонив к плечу крупную седую голову и прищулив один глаз.

— Непредсказуемое сказуемое — не наказуемое! — добавил Дубровенский. — Наказанию подлежащее — непредсказуемое подлежащее!

(Гаврила Тебеньков произвольно заглянул под стол — проверить, сколько же было перцовки.)

— Так куда же Наталья смотрела? — повторил Дорофеев и прищурил глаз еще больше.

Наташа выпустила замысловатое колечко:

— Он этот непредсказуемый поступок три месяца совершал. Все забросил. Сегодня пришлось перейти на пшеничную кашу.

— И на перцовку, Ната! — Коля Кондратьев отложил «Афоризмы», включил верхний — дневной — свет, подошел к стоящему возле стены подрамнику и обеими руками развернул его к народу.

На лицевой стороне холста красивая девушка Вера кормила грудью ребенка.

— Хо! — невольно выдохнул Тебеньков. В первый миг его поразило несоответствие изнанки — грубовато сколоченных, захватанных грязными руками реек и серой па-

русины, которую по нынешним временам ни один уважающий себя боцман не возьмет даже на чехлы для швартовых вьюшек, — и того что оказалось на холсте с другой стороны, сквозь каких-то два миллиметра.

За Вериной спиной неясно виднелся разбитый, в дымных облаках город: на его улицах почти вдоль земли пластались люди; вывинчивался из моря на горизонте лениво и рвано изогнутый ствол смерча — и все это обычным для Коли небрежно бегущим мазком... Но Вера! Что за сила затаилась в худых, почти прозрачных плечах, в переполненной, по-женски льющейся груди, полуприкрытой наскоро свернутым невзрачным — байковым? — одеяльцем, в темном ее взгляде («А глаза у нее вообще-то серые», — подумал Тебеньков)! И что это вдруг заставило кондратьевскую кисть ничем не напоминать о себе, будто он не рисовал конским волосом и грубой масляной краской, а словно сам бог создавал плоть?

Генка Дорофеев выколотил трубку о ладонь, поднялся, долго стоял перед картиной, клоня голову то на одно, то на другое плечо и прищуривая то один, то другой глаз, потом обернулся:

— Обрадовал, старина! Позволь, я тебя облобызаю! — и утонул в кондратьевской бороде. — Право, обрадовал! Есть над чем подумать...

— Художник, ты создал не домну, а нашу кольскую мадонну! — провозгласил Дубровенский. — Тебе и слава и хвала, куда б кривая ни вела!

— Она что же — позировала тебе? — спросил Тебеньков, обдумывая совпадение только что услышанной Вериной реальной тоски по ребенку и того, что тоже только что увидел на холсте.

— Ревнуешь? Не ревнуй. Я же и говорю — я совершил непредсказуемый поступок — я писал по воображению.

— Не-а! — сказал Дорофеев. — Просто на сей раз, старина, ты не спешил за жизнью, а вдумывался в нее. Да-да, старина. Отсюда и результат. Классика!

— Хоть это, может, и не ново, но всё ж не хуже Глазунова! — вставил Дубровенский. — Восполним в кружках хмель и эль, воскликнем дружно: Рафаэль!

— Видишь, Ната, — мгновенно поскуцнев, ответил Кондратьев, — как меня сразу: к ногтю — и в провинциалы!

— Нет, об этом, Коля, и не думай, — возразил Дорофе-

ев, медленно отступая от картины. — Просто, старина, ты прыгнул выше своего таланта. Выше своей бесталанности не прыгнешь, а выше таланта прыгнуть можно. Это ведь настоящая баба, женщина, а не какая-нибудь дернутая двадцатым веком фея, каких ты раньше, случалось, запечатлевал... Как считаешь, Гаврилыч?

— Хм, хо... Неожиданно вообще-то. Она мне только что призналась, что вообще-то замуж не прочь, примитивно говоря... Ненастье там позади какое-то странное... Как это ты, Коля, вообще сподобился?

— Имеющий око да видит!..

— Да он, Гаврила Гаврилыч, все это время ваш «Дневник коменданта Освенцима» читал, — спокойно дополнила Наташа. — С утра полстраницы — и в мастерскую.

— Понятно, — сказал Дорофеев. — Хорошо, хоть полстраницы. Меня от силы на два абзаца хватало, затылок леденеет. Вот тебе и ненастье, Гаврилыч!

Книжку эту, изданную в Польше на русском языке, подарил Тебенькову капитан очередной «Копальни», польского рудовоза, приходившего в Мурманск за апатитом. Сначала предложена была традиционная приходная рюмка «Выборовой», и Тебеньков (традиционно) согласился:

«Мы млодзи, мы млодзи,
Нам бимбер не нашкодзи...»,

однако, просмотрев порядком затертый «Дневник», от повторной отказался: в горло не пошла бы.

— Да, — согласился капитан, — я его тоже не быстро читал. Ужас! Как это у вас филма была? «Обыкновенный фашизм». Тут тоже, да. Ужас. От лица фашизма. Интимный.

«...Это он, пожалуй, точно сказал. Дневник — дело для себя, изнутри. И ужас от этого фашистского дневника — тоже внутренний, о таком с трибуны или на перекрестках кричать не будешь. Значит, Коля Кондратьев с этим ужасом — ужасом обыденного, столового уничтожения боролся, когда Веру рисовал? Вот именно, веру рисовал... — подумал Тебеньков, — вот оно что! Еще Польска не сгинела! Надо бы их с Генкой Дорофеевым с мастером с «Копальни» свести...»

А вслух сказал только:

— Ты, Коля, дигант, как говорит мой внук Рома. Так что перцовки я действительно выпью. И чего же — пше-

ная каша? Найдем чего-нибудь, подкожный жирок имеется...

— Не надо, — сказала Наташа, — Мозамбик трогать. У меня зарплата скоро. И квартальная премия. А он без денег злее работать будет.

— Ната, Ната! — Коля Кондратьев ткнул пальцем в «Афоризмы». — Сказано: деньги могут все, но и они не создадут мудрость учителя, голос певца и глаз художника!

— Да-да! — не унимался Дубровенский. — Велик художник и без денег! Никто не скажет: он — бездельник!

— Вам-то лично это не угрожает, — незаметно раздражаясь, возразил Тебенков.

— Что именно?

— Что вас бездельником не назовут. И насчет денег. Вы-то как раз очень благополучны! Я бы сказал: гарантированно благополучны!

— Но в случае войны мы...

— Не вы! Не вы. Вы-то как раз прикрыты, всей мощью. Слушайте, в прошлом веке, во франко-прусской войне на сто погибших было всего два гражданских. В первой мировой — уже сорок восемь, а во второй — семьдесят шесть, а во Вьетнаме — только что! — девяносто восемь. Ясно? «Мы, мы...»

— Мне такая статистика неизвестна.

— Еще бы! Что-то я уже злиться начинаю... Слушайте, ребята, кто этот неутомимый каптрюша?

— Остынь, Гаврилыч! — вмешался Дорофеев. — Это хороший молодой художник. И немного поэт. Я о нем статью для флотской газеты писать буду.

— Не знаю, какой он художник и поэт, но о деньгах судить будет, когда сам хотя бы три месяца негарантированно проживет. А лучше — год. И тогда поглядим, что в нем от поэта останется, если он поэт! И от художника, кстати, тоже.

— Цену молодости знают старики, цену деньгам — нищие, — засмеялся Коля Кондратьев. — Но знают ли!

— Просто Вадим Александрович впервые в такой обстановке и немного растерялся, да? — вступилась Наташа. — Не теряйтесь. Тут все наши. Тут пыжиться не надо.

И она огрубелыми своими пальцами, с въевшейся в них металлической пылью, погладила Дубровенского по обшлагоу.

— Вероятно, я не Дубровенский, я — дуб ровенский, — пробормотал капитан третьего ранга.

— Хо, вот это уже лучше! Вообще-то я тоже более-менее живу, если только большими железками друг о друга или об земную твердь стучать не буду... — Тебеньков на какое-то мгновение глянул Дубровенскому прямо в глаза и уже спокойно закончил: — Ладно, Вадим, понимаю: должен быть и у вашего брата материальный стимул. Но зачем же тумана-то подпускать?

— В другое время, Гаврилыч, я бы поспорил с тобой об офицерском корпусе, но сейчас не время! В честь сегодняшнего вернисажа беру чашку поглубее и сухарь подушистее и предлагаю тост за то, чтобы все мы хоть изредка поднимались над отпущенным нам талантом! Ну, будьте!.. — Дорوفеев отставил пустую чашку, потянул воздух через сухарь. — Вот это — дух! Такое, спасибо Вадиму, теперь возможно только на флоте.

— Угу, — ответил Тебеньков, — почему я не сухопайщик? Сухари действительно отменные... Но, братцы, дальше жить неудобно. Вы видите, как виновница торжества на нас смотрит?

— Я приглашал, но не слишком настойчиво, вдруг обиделась бы...

— Хо, обиделась бы, можно подумать! Сейчас я за чем-нибудь посушественнее сбегану, да и ее сюда доставлю.

— Есть еще перцовка, и чай, с голубым слоником, есть...

— Конечно, Коля, сегодня твой праздник и прием твой. Опять же — на шару и укус... Или как там у вас на востоке-то говорят, где пить запрещено?

— И правверный пьет вино, когда бесплатное оно...

— Во-во. Однако лучший метод борьбы с пьянством — это обжорство. А у меня Рай Иванна свои коронные пироги затворила!

3

Уже под березками на улице, где все так же блистало бабье лето, Тебеньков, сообразил, что надо было под горячую руку предложить все-таки Коле Кондратьеву заняться наглядной агитацией. Деньжата, наверно, сто́я-

щие, и аванс какой-нибудь можно выбить было. Все равно Коля будет теперь некоторое время в прострации, и что ему стоит кистью, молотком и ножовкой выдать на-гора требуемые квадратные метры?

«...И вышла бы гарантированная халтура, — остановил себя Тебеньков, — полный тебе безнравственный пример. Но, допустим, найдем мы каких-нибудь маляров на три головы пониже Коли да покладистей, попотеют хлопцы недельку, высунув языки, а и до Колиной халтуры не дотянут. Правда, со стороны об этом могут и не догадаться, народ привык к любому результату, но мы-то знаем, что на халтуру шли. Вот потому Коля каждый раз и кобенится, самолюбие свое блюдет. Когда дело не по душе, слабinka всегда может проявиться, а это — в предельном исчислении — мастеру позор. Ну а вот теперь ты сам на себя посмотри, Гаврило Тебеньков! Можешь ты, к примеру, утверждать, что свое дело, каждую, скажем, швартовку, ты исполняешь так, что комар носу не подточит, то есть — не только ради конечного результата пароходы ворочаешь, а еще отменности всей для? Не можешь ты такого о себе утверждать, Гаврило Тебеньков! Так что бери пример с истых художников, которые счастье не только в конечном итоге, а в ходе самого процесса познают. Хо, да что говорить. Ночи, Гаврило, и то, случалось, лениво ты ночевал, хоть бы с женой, а хоть бы и вообще. Конечно, дело прошлое, теща правильно статистику ведет, но это все, как ни крути, всего лишь бабки. А женщину надо любить подробно, чтоб все минутки запечатлелись, второй жизни ни у кого не будет, да... Но это какое же здоровье и какую душу надо иметь, чтобы на все в жизни всей душой бросаться?.. К тому же художник, вероятно, и должен в своем деле со всей очевидностью лично проступать, но для такой массовой штуки, как наглядная агитация или мореплавание, это просто вредно. Мое дело — безопасность соблюдать, а не шедевры-маневры на акватории выписывать, они и четверти часа не удержатся на воде-то, шедевры мои. И наглядная агитация — хорошо, если до нужной даты достоин. Ну так что же тогда — всю жизнь клепать мелочевку?»

Тебеньков с внезапным удивлением остановился, услышав, как повсеместно шелестит сегодня сентябрьская листва. Народ вокруг бежал — кто в гастроним, кто на автобусную остановку, кто к кинотеатру; почти сплошным

потоком, перегазовывая у светофора, повизгивая тормозами и шинами, шли в обе стороны магистрали автомашины, но шорох листвы слышен был явственно, как в санаторном лесу, он не только исходил от асфальта, а словно бы сыпался с неба.

И Тебеньков понял, что слышит сейчас не опадание листьев, а шорох своих незаметно ушедших, ничем не помнившихся и ничем не заполненных дней.

И снова грустно стало на душе Тебенькова. Расхотелось бежать за тещиними пирогами и пополнением в гастроном, расхотелось беседовать на светские темы с молодым поэтом Дубровенским и спорить с Генкой Дорофеевым, захотелось — просто чарку выпить, лечь на пожухлую траву, полежать и часок-другой поглядеть сквозь желтую листву в голубое небо...

Однако, будучи человеком слова, Тебеньков стукнул левым кулаком в правую ладонь, обхватил кулак шуйцы всеми пальцами десницы и, таким образом, взял себя в руки.

«Хо, разомлел! То ли бог тебя, Гаврило, здоровьем обидел? То ли не знаешь, что такое в судовождении — красота? То ли не понимаешь, что такое, когда дело ладом сделано и душа у человека на месте? То ли в жизни у тебя подлинных взлетов не было? Были! А ты, Гаврило, нюни развешиваешь!.. Вперед, голубчик, вперед!»

...Еще в подъезде густо пахло рыбниками, по части которых теща Раиса Ивановна была большой искусницей, и, заявившись домой, Тебеньков первым делом выклянчил себе кусочек пирога с палтусом на пробу:

— Ну, Рай Иванна, кто старое помянет... Конечно, флотский ржаной сухарь — не худо, но ваши-то кулебяки вне конкуренции — просто, доложу вам, райские кулебяки!

Раиса Ивановна спросила дрогнувшим голосом:

— Какой это, Гаврил Гаврилыч, еще сухарь?

— Дежурный, Рай Иванна, сухарь, — смутно ответил Тебеньков, поскольку отхватил уже полпирога. — Ум-м, не осчастливите ли еще парой штукеч?

— Отведайте и этого вот, с вымоченной трещочкой, — попотчевала Раиса Ивановна. — А сколь вам еще потребуется-то, Гаврил Гаврилыч?

— Да хоть бы пару штукеч с собой...

В прихожей он достал из-под вешалки свой походный

лоцманский, пообшарпанный, портфель, выложил из него приготовленное к вахте чтиво: свежие номера «Знания — силы», «Техники молодежи», «За рулем» (читать урывками основательные книги Тебеньков терпеть не мог), вытряхнул из портфеля на газетку сигаретно-бутербродно-непонятную труху, но тут выплыла из своей комнаты младшая дочь Светка Тебенькова, в аккуратном домашнем халатике, и не без язвительности спросила:

— Ты куда это снова собираешься, папуль?

— А к Коле Кондратьеву снова собираюсь.

— А портфель зачем?

— А чтобы кулебяки унести.

— А кулебяки зачем?

— А чтобы язву желудка на голом чае не нажить.

— Что-то я не слышала, чтобы от чая — язва желудка была...

— Мало ли чего ты не слышала!

Светка посверлила указательным пальцем зеркало, спросила:

— Ты сейчас способен говорить серьезно?

— Я всегда способен.

— Не скажи. — Она снова посверлила пальцем стекло. — Как ты относишься к Эдику?

— Это который тебя провожал? Хм, хо... Первый раз вижу, однако нормально отношусь. А как он к тебе? Большой мухой, по-моему.

— Он-то ко мне с уважением... И вовсе он не мухой! С чего ты взял?

— Во-первых, он со мной не поздоровался. Во-вторых, форма на нем — мятая-перемятая. И в-третьих, Светка, учти, через тройку лет он во-о-от таким амбалом будет!

— Во-первых, ты тоже амбал, папуль. Во-вторых, форму ему помяли. И в третьих, не поздоровался он потому, что стеснялся. У него синяк вот тут.

— Хо, понятно. Дуэль на шпагах? Не рановато ли для начала шестого класса?

— Так уж получилось, папуль, это я во всем виновата...

Тебеньков взял дочку за подбородок:

— Слушай, Светка, у нас на дворе сейчас бабье лето. Бабье! И тебе до него ровно тридцать три года расти. Представляешь, как это еще долго?

В Светкиных — за что и назвали — светлых глазах

стояло спокойное и упрямое взрослое сожаление, поблекнувшие к осени веснушки чуть заметны были на носу и щеках, и Тебеньков отпустил ее подбородок:

— Веснушек у тебя, как у Ромки.

— У Ромки — как у меня.

— Так и быть, тетя Света, завтра за грибами поедем. Рыцаря своего тоже пригласи... Ну, подробности будут?

— Я передумала. Я маме подробности расскажу.

— Такого уговора у нас не было.

— Не было, папуль. Я к тебе всей душой, а ты меня прихватил с ходу...

— Поучать взялся — так культурнее.

— Поучать взялся, — согласилась Светка.

— В понедельник что, Эдика снова мять будут?

— В том-то и дело...

— Ну ты, Светка, даешь!

— А это тоже не очень культурно, папуль. Иди лучше к своим художникам. Только не загуливайся там на междусобойчике, мама переживать будет...

4

«...Вот так и всегда, наставник ты хренов и депутат, дундук! — ворчал на себя Тебеньков, возвращаясь в мастерскую Коли Кондратьева с портфелем, полным хрустящих кулебяк, болгарских помидоров и вологодской перцовки. — Вот так всегда. На кого только не находится у тебя сочувствия — только не на самых близких! Чего, спрашивается, Светку оттолкнул? У девки, может, глобальная проблема, а ты ей про бабье лето, о котором она и понятие-то займает, когда сама до той поры доживет, — никак не ранее. К собственному ребенку с пошлыми поучениями полез! А если паренька снова метелить собираются — значит, дело серьезное. Пацанва зла долго не держит...»

На дворовой дорожке вдоль прогретых запыленным солнцем палисадников Тебенькова окликнули сверху:

— Ну что, с полным трюмом, Гаврилыч?

Генка Дорофеев весело помахивал трубкой с шестого этажа, седая голова его жемчужно светилась над бурым жестяным подоконником, а из темного проема окна над ним тянулись сизые полосы дыма.

— Хо, да ты, брат, сияешь, будто капустный кочан на грядке!

— Вызрел, значит, на благо трудового народа.

— Много там его?

— Прибавилось. Видишь, окошко открыть пришлось...

— Можно подумать — пожар. Спустись сюда, покурим. На солнышке, вон с бабусями, помурлычем.

— Да я и тут мурлыкаю, Гаврилыч. Дивное диво!

Междусобойчик явно перерастал первоначально задуманные размеры, Тебеньков с понятным удовлетворением оценил тяжесть собственного портфеля и прикинул, стоит ли вытаскивать на незнакомый люд виновницу торжества или лучше — конечно, лучше — представить ей её самое в камерной обстановке...

— Мадонна наша — там?

— Заглянула было, да что-то исчезла сразу, — окутываясь дымком, ответил Генка.

Поднимаясь по лестнице, в проеме которой ясно плавали на солнце взвихренные пылинки, Тебеньков заметил, что дверь в Верину квартиру приоткрыта, и хотел было постучать, но, подняв кулак, остановился: сквозь плеск воды в ванной доносились Верины всхлипывания:

— Все вокруг прямо пророки какие-то!.. У Любы у Тебеньковой Ромке пятый годик идет, а у меня теперь никогда детей не будет, Наталья Михална, никогда!..

Наташа Кондратьева что-то ласково и неясно втолковывала ей, но Вера заплакала еще громче:

— Да нет же, нет, Наталья Михална! И врачи говорят, да я и сама после всего этого, сама еще раз пробовала! Дура самоуверенная!!

Тебеньков опустил руку, постоял и пошел по лестнице обратно. На улице он сел на низенькую щербатую лавочку в редком палисадном березнячке, поставил рядышком портфель со снедью, вытянул ноги между увядшими пучками каких-то цветов, стараясь не давить особо башмаками землю, слепо пошарил по карманам и вспомнил, что уже три года как бросил курить.

«...То-то с утра из дому уходить не хотелось. Какие мы там пророки! Хорошо, если добра другим желаем, — только в том и пророчество наше... А не получается!!! Не получается иной раз — и ничего не поделать!.. Вот и еще одного человечка жизнь под себя подминает, а я ведь помню, когда она розовые пузыри в люльке пускала. А теперь вот — роскошная женщина в роскошной квартире, двадцатый век на исходе, а слезы — все об одном и том же! Какой-ни-

будь нелепый романчик с выводами — и все. А мы наверху оттенки груди обсуждать будем да в том ли колорите решено детское одеяльце...»

Тебеньков привалился спиной к тепловатому цоколю дома, откинул голову, закрыл глаза. Где-то за углом резко, как чайки, кричали мальчишки; по звукам можно понять было, что гоняют они отчаянно не мяч, а палками — консервную банку. А листья все сыпались и сыпались, и один из них, наконец, мягко и щекотно спланировал Тебенькову на лицо, но Тебеньков стряхивать его не стал, подумал: «А в общем-то сегодняшний день у меня не такой уж и пустой. Эх вы, бабы, бабы!..»

Тут же он вспомнил прошедшее лето и стеснительного председателя своей участковой избирательной комиссии, явившегося вручать ему, Тебенькову, временное депутатское удостоверение прямо в лоцманскую. Шел холодный проливной дождь, и председатель, несмотря на зонтик, очки и широкополую шляпу, добре промок, добираясь до причалов по исхлестанной автомобилями и электрокарами бетонке. Сразу же после торжественного вручения ему организовали кофе, и старший лоцман Иванов от щедрот своих плеснул — за неимением коньяка — в чашку председателю сухого ирландского джина. Затем Тебеньков отпросился на часок, чтобы доставить председателя до дому на своей машине, и, конечно, они застряли между железнодорожными переездами.

Тогда-то Тебеньков и спросил:

— Ну, а как голосование все же прошло?

— Что вы имеете в виду?

— Ну, за — против.

Председатель, уже розовый после кофе и джина, порозвел еще больше:

— Я третий раз исполняю эту обязанность. Обычно депутаты об этом не спрашивают. Вдруг вам это будет неприятно?

— Мне тоже не впервой. Переживу.

— Один голос против был... И один голос мы признали недействительным...

— Хо, почему же?

— Видите ли, — председатель стал усиленно протирать мокрые очки мокрым платком, — видите ли, ваша фамилия на бюллетене была то ли зачеркнута, то ли, простите, зацелована, губной помадой. — И председатель чихнул.

— Будьте здоровы!..

— Во всяком случае, я вас уверяю, письменные принадлежности в кабинках для голосования у нас были.

— А вы говорите — неприятно, — сказал Тебеньков, задумчиво разглядывая, как «дворники» разгоняют по ветровому стеклу мутную воду.

...Хлопнула дверь, и по сопению трубки Тебеньков понял, что появился на крыльце Генка Дорофеев. Так оно и оказалось.

— Ты что, Гаврилыч?! — воскликнул Генка. — С сердцем что?

— С сердцем, с сердцем, Генушка...

— А с лицом что?

— Да осень вот приласкала, балдею, как говорится...

— Ну вот! Наталья исчезла, ты пропал...

— Ты смелся... Бедный Дубровенский один оборону держит...

— Вся местная колония, изо всех подъездов, сбежалась. Хорошие ребята, но маленькое художественное потрясение Коля им устроил. Как же — ведущий импрессионист — и вот тебе на! Впрочем, он и себе встряску дал, — говорил Дорофеев, присаживаясь рядом с Тебеньковым на скамейку и снимая с лица Тебенькова березовый лист. — Надо встряхиваться, надо! Только так можно двигаться дальше! Только так... Слушай, Гаврилыч, а здорово из твоего портфеля тянет, я сквозь табак и то чую. Практически немислимое, Гаврилыч, нынче дело — домашний пирог... А Коля там уже чай затевает. Куда Наталья подевалась? Верно, славная она?

— Женщины, Гена, я так полагаю, на две категории делятся: с кем легко расти — и с кем легко гореть. Я лично за тех, с кем легко гореть. Вырасти-то я и один вырасту, но вот если гореть начнешь, если погоришь... Ну, а теперь, — сказал Тебеньков, открывая глаза и поднимаясь, — довольно matrimониальных вопросов, пойдем художников сватать!

И он пояснил недоумевающему Генке Дорофееву:

— Так реальная текущая жизнь требует! Я ведь сюда не на вернисаж с мадонной шел. Я парткому обещал наглядную агитацию оформить...

ЧЕРЕЗ ЯРУС

Как всегда, ощущение это пришло изнутри. Лежа на упругой поролоновой койке в темной спальне, с открытыми глазами, прислушиваясь к тому, как перекачивается кровь от головы к ногам и обратно при плавной бортовой качке, я вдруг понял, что судно, продолжая качаться, кренится все-таки больше на один борт: штурман производил поворот. Случилось что-то внезапное, иначе он вызвал бы меня на мостик. А может быть, и не вызвал бы: штурман молод, и ему очень хочется при удобном случае самому повернуть кораблем.

Койка выбрасывает, словно катапульта. Семнадцать секунд нужно, чтобы одеться: брюки и рубашка лежат под рукой, на стульчике-раскладушке, чтобы можно было нырять в них руками и ногами не глядя и не раздумывая. Ноги сами попали в босоножки.

Я вышел в салон и на миг зажмурился. Салон распирало солнце. Сразу зарябило, заломило в глазах, и на мостик пришлось добираться вприщурку, чтобы адаптировалось зрение: зачем нужен на мостике полуслепой капитан?

Когда я подошел к рулевому, судно уже закончило поворот и чубатый рулевой Жора Копылович пошевеливал штурвальчиком, успокаивая его на новом курсе. Так. Свернули вправо на тридцать градусов. Что же слева?

Помощник, великий педант и аккуратист, слегка не в себе:

— Слева группа ярких буев, товарищ капитан, и прямо по курсу, кажется, тоже.

Ходовая рубка до отказа заполнена солнцем.

— Если кажется, зачем же вы туда спешите?

— Нет, мы идем правее.

— Так...

Море роскошно не по-осеннему: синева и голубизна всех оттенков, да еще кое-где подсвечено изумрудным. Ветер балла четыре, редкие белые барашки вспыхивают, словно солнечные блики. Теплынь. Слева по борту, метрах в семидесяти, горят оранжевые кухтыли, круглые, как стратостаты, пластмассовые поплавки для сетей, буи — как называл их штурман. На одном из них на пластмассовом же шесте торчит вверх, чтобы издали заметно было, такой же оранжевый шарик — вроде флажка.

Понятно. А впереди-то что? Окуляры у штурманского бинокля установлены не по моим глазам, приходится периодически регулировать резкость... Порядок. Впереди, этак примерно в миле, пляшут на волнах такие же поплавки, как только что прошли по борту. Направление на них почти прямо по ветру, — пожалуй, поддерживают ставную сеть. Рыбака пока не видно...

Сети бывают по несколько миль длиной, а рыбачок на них стоит, как правило, маленький. Однако сеть сама по себе тяжелая, и у нее должны быть промежуточные поддерживающие поплавки, чтоб она в воде стояла ровно, как забор. И поплавков этих пока не видно ни слева, ни прямо, ни справа.

— Что делать будем? — спросил помощник.

— Заметили время и отсчет лага?

Знаю, что обижаю. Такой вопрос ему можно было бы и не задавать. Парень он исключительно пунктуальный и при поворотах момент и показания лага — чтобы потом определить, насколько мы в сторону уклонимся, — замечать, пока мы с ним плаваем, ни разу не забывал.

Он обидчиво поджал плотную горизонтальную нижнюю губу, и пришлось приступить к маленькой экзекуции, чтобы он не обижался впустую.

— Почему меня на мостик не вызвали? Только правду.

— Уже некогда было, пришлось отворачивать.

— Поздно обнаружили? Куда же вахтенный смотрел?

Штурман начинает краснеть.

— Ну?

— Я его отправил артельщику помочь...

— А сами?

— Я же не виноват, что у нас авторулевого не установлено, Копыловича с руля не снимешь...

— Ну, а вы-то что?

— Солнышко до конца не досчитал... Хотел место по трем линиям сдать...

Лицо штурмана сравнивается цветом с пройденными кухтылями, он опускает нижнюю губу и начинает щуриться на море.

Теперь и в этом полная ясность. То-то он меня не по имени-отчеству, а по должности именовал! Он отпустил вниз впередсмотрящего, а сам пошел решать задачку по астрономии в штурманскую рубку, потому что стол там широкий и можно разложить с удобством справочник-ежегодник и мореходные таблицы. Море из штурманской рубки видно, как война из генерального штаба, — по карте. Но море не спланируешь, да и что за война без разведки? Жора Копылович на штурвал чуб свесил, помощник в штурманской в цифрах запутался, и они едва не пропали по этим самым кухтылям, в последний момент пришлось отворачивать. До ближайшей земли трое суток ходу, вот помощник и успокоился...

— Решили задачку?

— Нет еще, не успел немного...

Так. Штурману, с его навыками, на задачку нужно минут двадцать. Наверняка минут десять вперед никто не смотрел. Судно за четыре минуты проходит одну милю, значит, мили три, километров около шести, шли вслепую... За сколько же эти буи видны?

Пена из-под борта вырывается ровно, без всплесков, словно струя из реактивного двигателя. Дизеля работают отлично. Идем по ветерку, и над трубой стоит высокий столб горячего воздуха. Сквозь него кажется, что белая сигнальная мачта дрожит, вырастая в небо.

Буи второй группы танцуют на траверзе. Отличные кухтыли, пластмасса светится изнутри, как перламутр. Слева по курсу видны яркие капли следующей группы, в бинокль заметны за ними еще буйки, и у самого горизонта мерцает на синей воде еще несколько оранжевых искорок. Миль за пять-шесть видны...

— Что же делать будем? — виновато повторяет второй помощник.

Интересный он парень: если оправдывается, никогда не сваливает вину на кого-нибудь, а всегда — на что-то. Вот, например, сегодня — авторулевого у нас, видишь ли, нету. Или, бывает, при начислении валюты ошибется — эхолот помянет. А то, помню, уронили за борт при погрузке два

ящика со сливочным маслом, так он неудачную конструкцию носового флагштока ругал.

— Как вы отворот делали, Павел Андреич?

— Скомандовал право на борт.

— Сразу?

— Сразу.

Это хорошо, что он решительно поворот делал, по ступенькам не разбрасывался. Если бы медлил с рулем, мог бы не успеть, кормой мог буи зацепить или пройтись прямо по поводцу.

— Ну, а почему вправо?

— Не знаю... Ветер слева дует, вправо поворачивать легче. Да и они курсом влево как-то стояли...

— Ну хорошо. А еще левее глянуть не догадались?

— Нет, я больше вправо смотрел, — ответил второй помощник и оглянулся на рулевого. Но Жору Копыловича голыми руками не возьмешь, он матрос бывалый, какое ему дело до разговора начальства! Жора не поднимает чуб свой синеватый от компаса, глаз от указателя руля не оторвет. И слышит только чужие гудки да еще команды на руль, даже если скомандовать самым тихим шепотом из дальнего угла рубки. Я замечаю, как оттаивают у помощника глаза, когда он смотрит на Жору. Значит, успел-таки Жора эти буи выглядеть и помощника предупредить успел. Спелись за полгода совместной вахты.

Павел Андреич и вовсе отпускает нижнюю губу. Сразу начинает казаться, что он улыбается. На помощника легко рисовать дружеские шаржи: длинная вертикальная линия — это нос, под нею поперек висячую дужку — и все.

Но помощник спохватывается, поджимает губу, застегивает верхнюю пуговицу на рубашке и снова спрашивает:

— Что же делать будем?

— Это не первый буй такой был. Первый должен быть большой, светящийся. Так... Пройдем еще пару групп, если рыбака так и не увидим — будем поворачивать.

— Через сети?

— А что же?..

Я и сам знаю, что это работа не наверняка. Наставления по мореплаванию не рекомендуют проходить через сети, то есть пересекать линию сетей. Тут можно намотать трос на винт (такие случаи бывали), или порвать сеть, чтобы, если попадешься, возмещать убытки владельцу (такие случаи тоже бывали), или же намотать на винт, одно-

временно кромсая сеть и теряя возможность собственного движения (такие случаи бывают чаще всего). В общем, пересекать сеть не рекомендуется. Значит, сначала нужно пересилить, пересечь самого себя.

Я никогда не плавал на рыболовных судах и все приспособления, превращающие море в загоны и западни для рыб, знаю лишь по опыту других. В том числе и тех, кто расплачивался за незнание своим благоденствием.

...Поскольку между буями нет промежуточных поплавок, это не сеть. И я никогда не слышал, чтобы в этом углу оксана водилась сельдь или подобная ей рыба для ловли сетями. По-видимому, это яруса на акул, или тунца, или марлинов, или, может быть, на меч-рыбу...

Ярус — длинный, многокилометровый трос, местами поддерживаемый на поверхности поплавками. К тросу привязаны через несколько метров тросики потоньше с крючками, на крючках наживка. Никогда не угадаешь, как далеко протянулась по морю такая нитка. Японцы, перво-статейные мастера по ярусам, умудряются растягивать их на несколько десятков миль, на сотню, следовательно, километров. Кое-где — буйки с аккумуляторными лампочками для опознания яруса ночью, а на подветренном конце этого ожерелья цепляется, будто паучок, сам рыбак, небольшое, как правило, суденышко...

Время идет, а мы все бежим по веселому морю вдоль натянутого в воде троса. Вот уже и прошла мимо четвертая группа буюв, пять штук — один с флажком, другие — просто так, и впереди видны еще три группы, а рыбака все не видно, и мы порядком уклонились в сторону, что нам совсем ни к чему. Нас уже полсутки ждет «Печенга», у которой какие-то неполадки с винтом.

Ну ладно, вот сейчас пройдем еще одну пачку оранжевых бусин и будем поворачивать. Поворачивать будем... Как же это получается? Пока вгонял в стыд штурмана, был — Я, а как дело дошло до необычного маневра, так сразу, даже в уме, оказалось — мы, значит, будем поворачивать. Хорош! Но поворачивать-то все-таки надо. И можно. Не должно же так быть, чтобы ярус был натянут по воде, как струна, есть же у него слабина... Расстояние между кухтылями почти что километр, должен же он провисать посередине обязательно. Мне много не надо. Для меня провиса в шесть метров хватит, а восьми — за глаза. Мало ли что — не рекомендуется... Но не может же он

быть натянут по океанской плоскости, не на чем ему держаться. А мне «Печенге» помочь надо, и вообще — надо!.. Так. Давай-ка уклонимся еще вправо, чтобы места для разворота хватило...

— Ну, лево на борт!.. Так держать! Стоп машина... Посмотрите-ка с левого борта, Павел Андрейч. Скажете, когда линию буев пройдем.

В бинокль отчетливо видно, как быстро смещаются в сторону, назад, буи. Пена под бортом заметно опала, винты не вращаются, но судно по инерции идет достаточно быстро. Вот-вот над тросом будем. А, черт возьми! Забыл приказать, чтобы трубку лага подняли, она под днищем торчит на метр двадцать. Само-то судно в подводной части гладкое, обтекаемое, а вот трубкой-то за трос зацепить ничего не стоит, она на самом конце даже вперед эдаким крючком развернута... Но не может же трос идти так высоко! Не на чем ему держаться на поверхности океана.

Я перестал следить за кухтылями, гляжу только вперед, в воду. Вода изумительная, плотная и прозрачная, как линза. Даже видно, как на глубине нескольких метров расходуется в ней отсвет от бортов и днища, покрашенных светло-зеленой необрастающей краской. И ничего, кроме этих всполохов, не видно. Тени какие-то еще мелькают.

— Линию буев пересекли, — со звоном в голосе доложил второй помощник.

С правого борта буйки тоже соединились и распались, сам вижу. Ну что же... для гарантии надо помедлить, а потом уж совсем спокойно скомандовать:

«Малый вперед!»

И снова зябко под сердцем. Вот как бывает: сначала кажется, что буи позади начинают подтягиваться в кильватерный след, к светлой дорожке. Кажется, что зацепили все-таки буйки, за собой тянем. Если минуты две-три потерпеть, сжаться, чтобы дурных команд в машину и на руль не накидать, все пройдет, и буи побегут по воде туда, куда надо, к горизонту, и лаг нормальную скорость покажет, и пена зашипит, зашуршит по-прежнему бойко, только уже со всплесками, потому что изменили курс и волна сминается под левым бортом, взбрызгивает оттуда, и зыбь начинает раскачивать судно так же плавно, как это было до встречи с кухтылями. Теперь можно даже нотацию помощнику прочесть не торопясь, с солидной назидательностью, можно даже пообещать, что впредь он будет от-

странен от вахты, если без впередсмотрящего начнет в астрономических задачах копаться.

Штурман как будто улавливает это и стоит сосредоточенный и снова бледный.

— Ну, так вы поняли, Павел Андреич, что океан не настолько велик, чтобы судно без присмотра оставлять?

— Извините, никак не думал...

— А вы и не думайте, вы исполняйте.

Это я по себе знаю. Болезнь эпохи, рецидив воспитания. Так приучены, что рвемся думать, а исполнять не очень рвемся...

— Конечно, думать необходимо, Павел Андреич. Вы только от себя в своих думах не пляшите. Вы хотя бы от Васко да Гамы начинайте. К примеру, впередсмотрящие у него были.

Море все такое же синее. Сверкают кое-где гребешки. Зыбь от прошедшего здесь циклона идет полого, незаметно. Ее угадываешь, когда судно мягко кренится на длинном склоне, как автомобиль, идущий в гору наискосок. При крене начинает дребезжать левая входная дверь, и штурман прихлопывает ее ладонью. Яркие горошины кухтылей возникают на зыби далеко в стороне. Рыбака все не видно.

— Хорошо, Павел Андреич, командуйте. Включите локатор, интересно все-таки, насколько рыбак перегородил море. Обнаружите — мне позвоните. Ярус пометьте на карте. Все понятно?

— Понятно.

Я потихоньку иду в каюту. Пластик дверей запускает зайчиков на переборки. Свет электрических плафонов не виден. Солнце вламывается внутрь корабля. Голубоватый солнечный луч из дверного иллюминатора пробивает коридор насквозь во всю длину, тонкие лучики путаются в ногах, выбегая сквозь вентиляционные решетки бортовых кают. Вспыхивают никелированные ручки. На переборках, обклеенных бежевым павинолом, видно, как небрежно водела тряпкой во время утренней приборки буфетчица.

В каюте все так же шелестит кондиционер. В спальне все та же темнота, и даже еще темнее, потому что вошел со света. Брюки и рубашку на раскладушку, сандалеты ногами на выход — на палубу. Койка приняла уютно и удобно, как стартовое ложе космонавта. Она широкая, двуспальная. Судно строилось за границей. У нас это было бы

ни к чему: капитану запрещается возить с собой жену. Но то, что широкая — хорошо: бывают такие виды качки, когда надежнее и покойнее всего устраиваться на койке по диагонали. Диван в салоне не конкурирует: он слишком прямой и плоский, с него сползаешь на палубу при любой качке. А с койкой я немало повозился на судоверфи, когда принимал судно, надоед и строителю, и даже конструктору, но зато она подогнана по мне, и не приходится барахтаться, взбираясь на нее, и ни разу я не отбивал себе копчик о штормовой борт, выскакивая из нее по внезапному вызову.

Шторки на окне отвисают при крене, на палубе тогда появляется зеленоватое мерцающее пятно. От обилия солнца устаешь, хотя и не так, как устаешь от полярной ночи.

Теперь можно попробовать отрешиться от навигационного долга, прислушаться к току крови в себе и вернуться к тому, что происходило перед тем, как штурман производил поворот. Что-то очень толковое приходило тогда на ум, но, как всегда, не оказалось под рукой записной книжки, а теперь я забыл, что же такое было. Образ, строчка стиха, начало повести?

Записная книжка лежит в салоне, в левом верхнем ящике письменного стола. Если бы не было качки, она лежала бы на столе. Иногда я успеваю уловить то, что неясно мелькает, наплывет мимоходом, толкнет изнутри; иногда я успеваю хоть чуточку, хоть приблизительно сформулировать это; и тогда, если есть возможность оторваться от дела, я бегу к письменному столу и карябаю в записной книжке.

«У писателя одна забота — писать», — изрек один мой друг.

«Остальное — гарнир», — добавил другой.

«Вы находитесь на таком уровне, когда можно писать и можно не писать. Вам необходимо бросить все и засесть на несколько месяцев за стол. Только писать!» — сказал однажды на вечерней улице Горького руководитель моего семинара в Литературном институте, добротный русский поэт. Тогда я еще пробовал писать стихи.

«Я не думаю, что ему нужно бросить сейчас плавать. Его профессия ему помогает», — возразил в Доме Герцена другой руководитель семинара, в котором я занимался, замечательный русский писатель. Тогда я уже пробовал писать прозу.

Океан глубокий и объемлет весь мир, но литература шире и глубже океана.

Об этом, что ли, думалось мне перед поворотом? Не вспомнить никак, не вернуться к тому, что было. Предстоит рабочая ночь, нужно будет начинать буксировку, а не спится. Наверное, от такого вселенского солнца.

Медленно качается судно, слышно, как свистит распарываемая на ходу вода, гудят внизу дизеля, шелестит кондиционер, поскрипывает при наклонениях легкая нептуниновая переборка между спальней и салоном. Старинный, удивительный на современном судне, звук. Переборка сделана из пропитанных негорючим составом прессованных древесностружечных плит. Они и рождают этот скрип, когда на волне шевелятся легкие корабельные надстройки. Скрип ошарашивает новичков, не все знают, что любое судно изгибается на волне. Не всем из команды нравится это поскрипывание, а я люблю его, оно так же близко мне, как свиристенье сверчка в избе, без которого, считается, нету настоящего жилья. Наконец так же многие столетия поскрипывала морякам корабельная древесина. Корабль появился раньше телеги и ранее колесницы, он появился до всего. Если перефразировать Библию — в начале был корабль. Так что, может быть, это монотонное, отсчитывающее волны поскрипывание — голос вечности. Кажется, об этом мне думалось перед поворотом?

Или я на самом деле слышал сверчка в той избе, в которой я подрастал и возле которой бегал голоштаный в красной короткой рубашке, когда, словно радуга, выростала за высокой изгородью шея рыжего жеребца и с него, скрипя портупеей, прыгивал мой отец? Изба несколько раз переходила из рук в руки, но всегда, когда я попадал в нее, там неистребимо свиристел сверчок.

Не так давно, зимой, отогреваясь там на русской печи, я увидел на потолке целую повесть, правда не на современную тему. Я хватанул тогда простуды и полтора дня провалялся, отпиваясь топленым молоком с медом и вбирая в себя каменный жар печи. Просыпаясь и засыпая среди устоявшихся запахов, я вспоминал историю косогора, на котором стояла изба: как смешались здесь в древности русь и корела, каких остервенелых хозяев успел наплодить здесь Столыпин, и как на скаку похлопывала отстегнутая крышка отцовской кобуры во время его ночных поездок по району, и какие там вырастали девушки, и по-

чему обошли это место стороной фашисты, и даже то, что однажды в этой избе ночевала вповалку рота партизан, а дед сторожил их, топчась в стороне, у березы. Я подумал, что обязан написать об этом как следует.

Интересно, иногда начинаешь осознавать запах корабельных помещений. Потолки, стенки, пол — пластик, палин, линолеум, декоративные ткани, клей, — все негорючее, все гигиеничное, все стерильное, все дышит химией. Этот слабый воздух разбавляется слабым же запахом соляра, перемешивается со свежим, солоноватым, искристым воздухом открытого моря. Запах устойчив, и его не замечаешь. Он долго живет в одежде, когда ты на суше. Во время сильного шторма наглухо задраиваются окна, двери, иллюминаторы и жалюзи вентиляции, и я напоминаю артельщику, чтобы он никому не выдавал чеснок — иначе его придется есть всем. На судне свой микроклимат, свой мир, и только длительные стоянки в портах приписки взбаламучивают его. Привязанность к обычаям своего корабля живет в мореплавателе упорно и консервативно, и единожды сложившийся порядок менять приходится, вырезая мозоли больные, заслуженные...

Так вот оно в чем дело! Я же собирался сегодня беседовать с матросом Юрой Агешиным о пьянке. Вернее о том, чтобы ее не было: Юра ступил на тропу алкоголя. Не было еще ни одного прихода в порт, чтобы он не наступил на пробку. Юра был тихий алкоголик, но это еще тошнее. Худощавый, блеклый, слабо-голубоглазый, после схода на берег он еле таскал на себе теплые домашние тапочки со стоптанными задниками, неврастенично выслушивал хулу, и ни о какой производительности труда в этот день не могло быть и речи. Единственное, к чему он приноравлился в ходе наших педагогических усилий, — это заранее спрашивать себе выходной или отгул на случай похмелья. Тихая зараза алкоголизма исходила от него. После каждой беседы с ним я распознавал в себе смутное желание смертельно напиться... Кажется, как раз об этом я думал перед выходом к ярусу?..

Пора бы уже второму помощнику что-нибудь доложить о рыбаке. Мы идем вдоль яруса наискосок, и если ярус не длинный, то, может быть, локатор захватит рыбака или даже, при такой ясной погоде, он будет сначала обнаружен визуально. Определить бы его место, ведь ночью придется идти здесь обратно.

Я опять оделся и опять по пронизанному солнцем кораблю прошел на мостик.

Жора Копылович выпуклым глазом глянул на меня из-под чуба, второй помощник опустил телефонную трубку:

— Вам звоню. На локаторе справа цель. В бинокль похоже, что рыбак. Пеленг пересекается с линией яруса. Может, подвернем поближе?

— Для чего же мы лезли через ярус? Чтобы снова крюка давать? Погода балует. Работа по нам скучает. Ага, бинокль. Так. Ну, кто там?

Впередсмотрящий на правом крыле посторонился, махнул рукой:

— Вот, прямо по солнцу.

От негопряно пахнуло жареным мясом и чесноком — видно, он не терял времени вхолостую, когда помогал артельщику. Молодец.

Как расстилается вода! Кое-где возникают полосы пены, тянутся под солнцем влево и вправо. Скорость у нас хорошая, и волны, вызванные движением корабля, словно крылья, набегают на море. Синяя вода начинает темнеть, едва заметно подкрашивается фиолетовым: все-таки солнце теряет высоту, скатывается от полудня к заходу. У горизонта загорается и гаснет белая точка. Восьмикратный цейсовский бинокль приподнял и приблизил ее.

Это был рыбак. Волна вскидывала его легко, как чайку, и тогда зажигалась на солнце аккуратная, крашенная белой эмалью, рубочка. На черном борту что-то крупно написано, но на таком расстоянии не разглядеть — буквы это, цифры или иероглифы. Но разве об этом рассказ?..

ПО УТРЕННЕЙ РОСЕ

Миле

По утрам она всегда просыпалась раньше меня. Она вздыхала, запахивая халат, потом шумело сено, негромко брякала приставная лестница, и я сквозь сон еще различал ее шаги по тропинке к дому. Когда шаги затихали, я начинал слышать, как шуршит на солнце просыхающая после ночной росы крыша.

В доме под черепицей в конце нашего переулочка близ полуночи иногда пророчески выла собака — и хозяин ее умер под осень, а в это время было тихо: не кричали петухи, не гудел поезд, не брякали ведра — только слышно было, как над головой солнечные лучи расправляют дранку.

Крыша медленно просыхала, и звуки так же медленно истаявали, отдалялись — и вот их не было совсем...

Я просыпался, когда она возвращалась. Она клонила ко мне, и я видел, какие у нее тяжелые, в той же ночной росе, волосы.

— Все спят еще: и дедки, и бабки, и детки...

В полуоткрытой дверце сеновала висел косою квадрат упругого утреннего неба, и мне казалось, что облака на этом небе собирались только к полудню, когда становилось невмоготу жарко, и тогда облака были кстати.

А пока на небе не было ничего, и золотые пылинки сена плавали в дверном проеме...

Потом первый утренний самолет с ближнего аэродрома пробивал тишину, и тогда начинали звякать ведра, шипел паровоз на станции, сосед напротив заводил свой КраЗ, откашливался мотоцикл другого соседа, кричал на куриц петух, и мы, слезая с сеновала, видели в небе над солнцем белую расплывающуюся параболу далекого самолетного следа.

Но это было потом.

Утром стирались борозды прожитых лет. Утром мы жили, как яблони, как трава, как дранка на крыше. Мы возвращались из сна, но первые минуты наяву тоже еще были сном, все было невнятно, и не хотелось просыпаться, отрешаться от призрачной сенной пыли, тишины и тяжелых ночных волос.

— Попрогай, какая я теплая... Неужели я умру? — говорила она, и я жалел, что мне не хватает нежности, чтобы заставить забыть ее обо всем остальном. Но она вспоминала обо всем остальном в то лето: наверное, она острее меня чувствовала, как невосполнимо уходит время.

У меня и сейчас что-то горько вздрагивает внутри, когда я вспоминаю ее в такие минуты. Ведь она знает, когда я поседел и в какие именно дни мы с нею встречались в таком-то году, а я не очень помню об этом...

«Капитан, у вас будет легкая жизнь, потому что вас мало волнуют женщины» — так сказала кельнерша в Аист-баре, где я справлял очередные свои именины. Кельнерша была блондинка что надо, и я ее запомнил, потому что в тот день звонил домой через три страны и услышал, что особых новостей пока еще нет, на улице жуткий холод, и как-то не верится, что было такое лето...

— А как там у вас?

— Как всегда, самой малости недостает...

— Стармех писал жене, что у вас зелень, чисто и уже цветут астры, а ты, как всегда, ни строчки...

— Значит, я не специалист по астрам.

На третьей рюмке, которую мы стоя выпивали за наших далеких дам в том самом Аист-баре, куда собирались одинокие женщины и девушки на выданье, надеясь, что аист принесет им в конце концов счастье, я догадался, почему пахнут сеном затылки всех маленьких детей на Руси и почему астры ничем не пахнут. Газовая реклама отражалась в окнах отеля через улицу, и я сквозь сигаретный дым все время видел синего аиста, танцующего твист.

Зато, когда мы шли обратно, астры вонстину взрывались в скверах. И даже над тротуарами, над обелисками мусорных урн гремела цветочная канонада, в дымном за-

реве просыпалась впереди верфь, и, поднявшись на собственный борт, я впервые понял, почему наиболее одиноким можно быть именно в развеселой компании.

Но это тоже было потом.

А в то лето я от нечего делать штурмовал сорняки в огороде, наполовину заросшем крыжовником и малиной.

Она приходила с миской малины и куском хлеба, стряхивала мне пот со лба и спины, и я бросал тяпку в ручей между грядками.

Я протирал ладони лопухом, но они все равно оставались грязными, и тогда я ел из ее рук, и закуривал из ее рук, и удивлялся, что она не умеет как следует зажечь спички.

Я курил и смотрел, какое у нее легкое платье, и замечал, как округло раздаются и обвисают ветви у яблонь. Над головой кружилась точка полевого ястреба, к зениту собирались полдневные облака, очень хотелось в тень, и почему-то не верилось, что на самом деле может быть такая идиллия.

Она видела это, пугалась, и у нее начинали по-детски дрожать губы...

Я затапывал сигарету:

— Ну вот что... Ну хочешь, пойдем купаться? Наплюем на эту бодягу и пойдем. Что мы, на плантации, что ли?

И мы шли купаться, а идти было всего ничего. Городок еще в конце ямщицкого века прилип к озеру и все вытягивался вдоль воды, так что с любой улочки до берега была пара минут пешком. И на любую улочку светили по-над озером недавно позолоченные купола островного собора.

По дороге я успевал раздеться до плавок и смотрел, как она становится на цыпочки, снимая платье. Ничего никогда не видел лучше: светлая вода, лес на том берегу и она — на этом.

Волна шебуршала у берега старыми тростинками, камешками и обломками сосновой коры. Когда, отогреваясь, я выстругивал парусники для пацанов, она расхаживала по траве, отряхивалась, осторожно прыгала на одной ноге, приложив ладонь к уху, и мокрое полотенце голубело над ее коленями.

Как-то она подошла, остановилась за мной и я, запрокинув голову, увидел, какая у нее стала грудь. Она еще

постояла, помедлила и тихо пошла по траве прочь. Я догнал ее.

— Больше не смотри на меня так... Хочешь, я тебе что-нибудь скажу?

— Ну?

— По-моему, у меня скоро будет ребенок...

— Что значит — скоро? И — у меня?

Она стояла бледная и смотрела мне прямо в лицо.

— Ладно. Видишь, какая ты умница. Пойдем одеваться... Пойдем.

Я вел ее по хрустящей ракушечником улице и вяло думал: ну вот, слава богу, все завязано теперь неловким бабьим узлом, и, видимо, никогда больше не повторится наш с нею первый междугородный разговор, после которого я ощупью прошел сквозь почтовый зал и сунул деньги выбежавшей вслед телефонистке, ибо настоящий мужчина не имеет права распускать нюни даже после такой беседы с женой.

Я вспомнил участливое лицо телефонистки, холодную лестницу и то, что я никак не мог найти деньги, чтоб заплатить за разговор. Это было давненько, и, когда я пришел на почту, я был такой молодой, такой самоуверенный, и я был навеселе. Нас соединили, она поздоровалась и сказала, что не может меня обманывать, потому что она тут без меня целовалась, да и вообще мы зря все так поспешно в жизни решили. Я заорал в трубку, что все это неправда, но она возразила, что это все правда, и я представил, какие у нее при этом были грустные и ясные глаза.

Потом у меня было всякое, чтобы привыкнуть думать не только о ней.

...Помню подъем пропавшей без вести подводной лодки. Давно оплаканные миром люди хорошо сохранились под большим давлением при постоянной температуре в горько-соленой воде, но начинали темнеть, разбухать и распадаться, едва в отсеки лодки подавался свежий воздух. Трупный запах и несколько месяцев спустя все еще отдавал в нос. Но что были наши тяжкие труды для тех, кто снова оплакивал милых на берегу оборонного моря!

Еще помню длинную дорогу с грузом пиломатериалов из Игарки, когда машина на нашем новом теплоходе ломалась столько раз, что наши брусья и доски успели высохнуть, и отсыреть, и снова высохнуть, и превратиться

в неотъемлемую часть самого судна. Но в конце этой дороги был горячий белопесчаный поворот среди кактусов, и прямо за ним — возникающая, как удар, выходящая из голубого бассейна баснословная темно-золотистая мулатка...

В общем, время шло, и мир — вообще — бывал тривиально прекрасен, и море — в целом объеме — спокойно, и я искренне считал себя достаточно мудрым и сильным, пока однажды не проснулся в своей каюте и не увидел ее на кончике дивана и растерянное лицо вахтенного матроса в дверях...

В самую жару мы вернулись с озера, и она весь день ходила по двору и дому тихая и не напевала, как обычно. Когда в окнах за вечерело, запахло теплой пылью и коровьим молоком и сквозь неподвижные кленовые листья забрезжила луна, она попросила сходить с нею на танцы.

Вечером в городке было тихо, как в деревне. Слышно было, что в дальнем углу озера, километров за десять, подвыпившие рыбаки тянут песню. И музыка с танцплощадки наверняка смущала девочек в каждом доме.

Пришлось почистить ботинки, надеть тужурку и затянуть на шее галстук. Она взяла меня под руку, и мы пошли на танцплощадку, и глуховатые бабки со всех прикалиточных скамеек желали нам вслед добра.

Я шел трезвый, как барометр, и бабки со скамеек и радовали, и раздражали меня.

На мысу, в старом помещицьем парке, на танцплощадке, было таклюдно и электроника вблизи так громко хрипела, что расхотелось танцевать.

— Когда ты был курсантом, мы лазали сюда через забор. Боже, какие зеленые мы с тобой были!..

Она прислонилась ко мне, а я смотрел на медленную луну, которая обходила озеро с юга, и пытался представить все количество лун, прокатившихся передо мной над пресной и соленой водой. Большинство из них она не видела. Пока я стоял свои вахты, она жила в городе с искусственным светом, и я надеюсь, что она не часто видела, как всплывает и опускается в воду луна: у нее была не связанная с луною работа.

Неясные отсветы скользили по соборным куполам; дюжие молодцы и красные девицы, а также с десятков таких, как мы, перестарков дружно утаптывали выдающий-

ся в озеро клин земли, на которой, по преданию, дед моего деда выкорчевывал дикие ели по барской воле, а ее бабушка, судя по древним фотокарточкам на картоне, любила собственноручно потчевать кофею со сливками заезжих знатных гостей. Старая ветла за моею спиной была такой же старой, какой она была и в моем детстве...

— А ведь он у тебя уже есть, вот что...

— Ага. Ты понял? И у тебя.

— Ну... моим он станет не скоро, то есть не сразу...

— Через две недели тебя не будет...

— Через два месяца я вернусь, ненадолго.

Два месяца не такой уж большой срок, иногда не успеваешь соскучиться, да и вообще можно еще потерпеть. За полгода, за год потихоньку отвыкаешь от дома, а еще хуже, когда очень к нему привыкаешь: тогда и Арктика холоднее, и в тропиках жарче, а на судне — сплошные поломки, и экипаж уже совсем не тот, что был раньше, до того, как побыли дома. Хотя, если признаться честно, никогда мужчина в море не перестанет тосковать по своей женщине — и это единственная морская болезнь, которую я признавал, когда был помоложе.

— Очень жесткие у тебя нашивки на рукаве, как обручи...

Я повернул ее спиной к музыке, и мы пошли из парка. Ее каблучки постукивали по ракушечнику, и на длинной темной улице ничего не было слышно, кроме музыки за спиной и ее каблучков.

Она задержалась у калитки, обернулась ко мне, и я понял, что она уже давно плачет.

— Главное — не то, что ты хороший, главное — полюбить.

Во дворе пахло ромашкой и сохнувшей травой. Трещал на огородной меже поздний кузнечик. У нас все спали. Молчала собака в доме под черепицей.

Мы нырнули в свой прогретый за день сеновал, и она сказала, еще всхлипывая и устраиваясь поудобней:

— Открой, пожалуйста, окошко там, наверху. Ты большой, ты достанешь...

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРВЫЙ ЛОЦМАН	5
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ	20
ПОДВАХТА	42
ЧТО НУЖНО МУЖЧИНЕ	58
СИЛЬ ВУ ПЛЕ НА ДЖОРДЖЕС-БАНКУ	70
КАПИТАН, КАПИТАН, НЕ ГРУСТИ...	77
БОРМОТУХА	82
ПАНЕ-ЛОЦМА́НЕ	95
ТРИ ИВАНА, ДВА ПЕТРА	115
ЛЮБОВЬ ДО НОРДКАПА	126
ПЯТЫЙ РЕЙС	137
ПРОГУЛКА	170
УГЛОВОЙ ГАРНИЗОН	177
НАГЛЯДНАЯ АГИТАЦИЯ	189
ЧЕРЕЗ ЯРУС	206
ПО УТРЕННЕЙ РОСЕ	217

**Борис Степанович
Романов**

**«ПАНЕ-ЛОЦМА́НЕ»
И
ДРУГИЕ
РАССКАЗЫ**

Фото В. Е. Кононова

Редактор А. Б. Тимофеев
Художественный редактор В. С. Жарков
Технический редактор Т. В. Кабанова
Корректор Р. А. Варушина

ИБ № 542

Сдано в набор 29.07.85. Подписано в печать 31.01.86. ПН-02025 Формат 84×108/32
Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ.
л. 11,76. Усл. кр.-отт. 11,81. Уч.-изд. л. 12,2. Тираж 30 000 экз. Зак. 6926. Цена
1 руб. 10 коп. Мурманское книжное издательство, 183626, г. Мурманск, пр. Ле-
нина, 100. Типография издательства Мурманского обкома КПСС, 183624, г. Мур-
манск, ул. К. Маркса, 18.

1910 г.

БОРИС РОМАНОВ